БІБЛІОТЕКА
ІНСТИТУТУ
ЮДАЇКИ

Вадим Скуратовский

ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА «ПРОТОКОЛОВ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ»

Киев 2006

УДК 930.22.94(=411.16)

Бібліотека Інституту юдаїки

Книга присвячена проблемі авторства “Протоколів сіонських старшин”, анонімного тексту, який самою своєю появою спровокував на початку ХХ століття масові і вкрай реакційні настрої, які подекуди діють і сьогодні. Саме підкреслена анонімність “Протоколів” надала покладеному в їх основу міфу про всесвітню змову єврейства проти християн і всього людства взагалі чи не планетарного резонансу. Шляхом історіософського, а далі власне текстологічного аналізу “Протоколів” український дослідник доходить висновку, що вони є літературною містифікацією російського журналіста і белетриста Матвія Головинського (? – 1920 рр.). У книзі наводяться численні ідеологічні та стилістичні паралелі між “Протоколами сіонських старшин” та літературною продукцією М.В. Головинського. Книга розрахована на істориків, літературознавців, соціологів та фахівців з юдаїки.

Редактор: Мирон Петровський
Відповідальні за випуск: Костянтин Сігов та Леонід Фінберг
Художнє оформлення: Іван Григор’єв
Комп’ютерна верстка: Галина Ліхтенштейн

С 467 **Вадим Скуратівський.** Проблема авторства “Протоколів сіонських старшин” // – К., Дух і Літера, 2001 – 260 с. – Рос. мовою. (Серія “Бібліотека Інституту юдаїки”)

ISBN –

Тогда я демонов увидел чёрный рой,
Подобный издали ватаге муравьиной –
И бесы тешились проклятою игрой...
....
Я издали глядел, смущением томим.

Пушкин

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland.

Paul Celan.
Todesfuge

Человек живет в доме
тот который играет со змеями
тот который пишет
тот который пишет
когда тьма
падает на Германию.

Пауль Целан. Фуга смерти

ПРЕДИСЛОВИЕ

"Книги имеют свою судьбу", но и судьба имеет свои книги. И даже брошюры. Участь мира от александрийской библиотеки до Библиотеки Конгресса необходимо совершается, при всем переизбытке книг, там накопленных, вблизи их совсем небольшой символической полки, во многом и определившей эту участь, — полки, в самом начале которой бесспорно стоят Гомер и Библия, с разных концов бытия лепивших его средиземноморский, а затем и общемировой состав, а в самом конце, столь же бесспорно, самая скромная брошюра (то есть непериодическое полиграфическое произведение, чей стандартный объём традиционно, едва ли не со времен Реформации и французской революции, столь интенсивно "брошюровавших", не превышает сорока восьми страниц обычного книжного формата). Брошюра, под двоящимся названием — "Протоколы собраний сионских мудрецов" или "Протоколы сионских мудрецов".

Вовсе не гипербола: эта копеечная брошюра — копеечная свеча, от которой и заполыхали ведьмины огни века, испепелившего миллионы человеческих жизней.

"Протоколы собраний сионских мудрецов" ("Протоколы сионских мудрецов") — текст, возникший, по-видимому, на исходе прошлого века, и, вслед за тем, бесспорно же ставший идеологическим либретто к одному из самых страшных гиньолей в драме века нынешнего.

"Протоколы сионских мудрецов" (далее ПСМ) — это как бы наиболее отрицательный из всех "образов Иерусалима", созданных европейско-христианской словесностью, — собственно, той её специфической периферией, которая примерно с эпохи катастрофы цивилизации сефардов до текущего антисемитского китча специализировалась на самой резкой поле-

мике с еврейством — полемике религиозной, а вскоре после французской революции — и политической.

"Протоколы" — это абсолютный рекорд той полемики по всем его астрономическим количественным показателям, его библиографически уже едва ли исчислимым тиражам, изданиям и переводам — нелингвистически говоря, на "тайваньский" и "южнокорейский" включительно.

Предлагаемое исследование — всего лишь самая осторожная попытка, не более, выявить если не авторов "Протоколов", и по сей день остающихся в самом глубоком анонимате, то по крайней мере, некоторые истоки их литературно-идеологической направленности, истоки, которые, с одной стороны, возможно, хотя бы отчасти и приблизят нас к устранению этой анонимности в направлении тех или иных конкретных лиц, а с другой — несколько более резко, чем то было в предшествующей, — разумеется, не мистифицированной — литературе о "Протоколах" — очертят идеологические контуры легенды, положенной в основу "Протоколов", собственно, представят само устройство порождающей грамматики той легенды, и сегодня исправно продолжающей свою разрушительную работу.

Итак, основной предмет исследования — собственно литературный и, наконец, "персональный" генезис "Протоколов".

В своих эвристических усилиях автор стремился учесть разыскания и наблюдения как всех известных ему предшественников-комментаторов проблемы — носителей самых разных взглядов на нее, от резко отрицательных до панегирических, — так и ту сумму фактов внутри и вокруг "Протоколов", которые по самым разным причинам, случайным и неслучайным, остались вне исследовательского и просто внимания, и без осмысления которых, похоже, понимание "протокольной" структуры, самого ее возникновения, — уже невозможно.

Предлагаемая работа по своему методу является, таким образом, прежде всего суммой самых скромных читательских маргиналий на полях куда более обстоятельных трудов, посвященных проблеме "Протоколов" — либо непосредственно, либо контекстно (Пьер-Андре Тагиев, Норман Кон, Чезаре Г. Де Микелис, Януш Тазбир, Савелий Дудаков, Михаил Золотоносов и другие).[1]

Не рискуя вступать в интеллектуальное состязание с названными столь авторитетными исследованиями, автор предпочитает единственно развитие некоторых важных интуиций и фактов, в них содержащихся.

При этом автор, решительно дистанцируясь от апологетики одного из первых издателей "Протоколов" С.А.Нилуса, содержащейся в цикле недавно появившихся работ о нем (Р.В.Багдасаров, А.Н.Стрижев, С.В.Фомин, С.Половинкин), столь же решительно оставляет за собой естественное эвристическое право воспользоваться богатейшей биографической и другой фактичностью, собранной в тех работах[2].

Работа выполнена украинским автором, скажем так, как бы в тени полутысячелетних украинско-еврейских отношений, по своей спазматике уверенно соревнующихся с самыми трагическими зрелищами или, точнее, позорищами видавшего виды "Нового времени". Разумеется, автор нимало не надеется своим исследованием избыть эту спазматику. Но в этом исследовании он надеется хотя бы отчасти выполнить свой общечеловеческий и, в самом гуманистическом значении, национально-патриотический долг[3].

В то же время исследователь искренне сожалеет о необходимой экзистенциальной ограниченности избранного им жанра, который по самому своему специальному, сугубо "цеховому", претендующему на некоторую научность характеру не позволяет автору вместе с читателем подлинно проникнуть в подлинные глубины исследуемой проблемы. То есть по слову Андре Мальро, в те самые "глубины естества, в запретные уголки сердца, где притаились пытка и смерть"[4].

Настоящее исследование и своим замыслом, и своим появлением обязано многолетней дружбе автора с семейством Петровских и семейством Финбергов — киевлян, самим своим существованием научавших автора-пессимиста неисчерпаемым возможностям морального и другого сопротивления "пытке и смерти".

Особая благодарность г-же Екатерине Петровской, самоотверженно добывавшей для автора самые экзотические, порой совсем уже легендарные издания, необходимые для его работы.

I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

Итак, поначалу напомним самую раннюю историю бытования "Протоколов Сионских Мудрецов" (ПСМ).

Хронология проблемы:

1902 г. — в респектабельной петербургской газете "Новое время" появляется первое в истории печатное свидетельство о "Протоколах сионских мудрецов". В статье М.О.Меньшикова "Заговоры против человечества", помещенной в его цикле "Из писем к ближним. XVI" (1/20 апреля 1902 г., № 9372, с.2–3). Статья нововременского публициста, по тогдашним убеждениям консервативного либерала, исполнена скепсиса по отношению к некоей светской даме, предложившей автору ознакомиться с "Протоколами", и к самим "Протоколам". Весьма сомневаясь в подлинности последних, М.О.Меньшиков противопоставляет им вполне реальную опасность со стороны "волшебного круга страшных утопий" — от "пан-британизма" и "пангерманизма" до "панмонголизма", оставляя сочинение и распространение "Протоколов" на совести "людей с повышенной температурой мозга".

1903 г. — в петербургской, в начале того года возникшей газете "Знамя", издаваемой П.А.Крушеваном, появляются "Протоколы сионских мудрецов" под названием "Программа завоевания мира евреями" с предисловием, предположительно, С.А.Нилуса, мистического писателя (№ 190, 28 августа /10 сентября, с. 2; 29 августа /11 сентября, с. 2; № 192, 30 августа / 12 сентября, с. 2; № 193, 31 августа /13 сентября, с. 1–2; № 194, 1/14 сентября, с.1–2; № 195, 2 /15 сентября, с. 1–2; № 196, 2/15 сентября, с. 2; № 197, 4/17 сентября, с. 2; № 200, 7/20 сентября, с. 2).

1905 г. — в декабре появляется анонимная брошюра “Корень наших бед” с подзаголовком “Где корень современной неурядицы в социальном строе Европы вообще и России в частности. Отрывки из древних и современных протоколов Всемирного союза франкмасонов” (цензурное разрешение от 9 декабря того же года), представляющее собой расширенную версию публикации П.А.Крушевана. По-видимому, это издание стало основой изданной в том году в Москве И.И.Пашковым брошюры “Древние и современные протоколы собраний сионских мудрецов”. В декабре же в Царском Селе выходит вторым изданием книга С.А.Нилуса “Великое в малом и антихрист как близкая политическая возможность” (первое издание вышло в 1903 г.), в составе которой были напечатаны “Протоколы сионских мудрецов”, в пред-шествующем издании отсутствовавшие (цензурное разрешение от 28 сентября 1905 г.). Именно эта публикация закрепляет за “Протоколами” их каноническое название и вводит их сначала в российский, а затем и мировой обиход. “Протоколы” были представлены вниманию императора Николая II и произвели на него самое сильное впечатление.

1906 г. — в январе указанная анонимная брошюра уже переиздаётся с именем редактора Г.В.Бутми — под названием “Враги рода человеческого” с подзаголовком “Протоколы, извлеченные из тайных хранилищ Сионской главной Канцелярии. (Где корень современной неурядицы в социальном строе Европы вообще и России в частности)”. На протяжении года появляются три издания этой брошюры.

В Казани появляется перепечатка со следующим подзаголовком: “Выдержки из древних и современных протоколов Сионских мудрецов Всемирного общества Фран-Масонов”.

1907 г. — на протяжении года появляются два издания брошюры Г.В.Бутми.

Во второй половине 1900-х — ультраконсерваторы А.С.Шмаков и Н.Е.Марков (Марков 2-й) представляют в министерство внутренних дел доклад о возможном политическом использовании “Протоколов”.

Начинается активная “читательская” жизнь ПСМ, продолжающаяся по сей день.

Вслед за тем, рассмотрим ПСМ покамест вне проблемы персонального их авторства, в эвристическом режиме, близком, скажем, к вёльфлиновской идее "истории искусств без имён" (Kunstgeschichte ohne Nahmen). То есть чисто типологически, исходя из общей суммы идей и представлений, положенных в основу ПСМ[1]. Все их двадцать четыре раздела-протокола (таково их число в каноническом для нас тексте, опубликованном Сергеем Нилусом в его книге "Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле" в издании 1911 г., Сергиев Посад, с. 57–133)[2] явственно расслаиваются на несколько взаимосвязанных между собой смысловых слоев.

Первый из них сам по себе нисколько не "провокационный" при всей своей крайней социологической резкости самого памфлетного свойства. Это — социологически именно резкая, претендующая на известную целостность "обществоведческая" пессимистическая картина той цивилизации, которая возникла после французской революции 1789 года. Предельно критическая картина цивилизации, незадолго до предполагаемого создания ПСМ весьма торжественно отпраздновавшей свой столетний юбилей (среди прочего, на знаменитой Парижской всемирной выставке 1889 г.).[3] Цивилизации, вслед за тем, впрочем, стремительно вошедшей в полосу разнообразных кризисов. Как внутрифранцузских (так называемая "Панама" и вскоре "дело Дрейфуса"), так и общеевропейских. Кризисов, как бы сейсмически встряхнувших едва не всё континентальное здание либеральной демократии-именинницы (прежде всего, интенсивнейшее деление крупных военных держав материка на враждебные друг другу военные союзы; англо-французский конфликт при Фашоде-1898 и прочее в том же направлении).

Картина того неблагополучия в ПСМ сегодня представляется вполне конвенциональной-приемлемой едва ли не для всех их интерпретаторов и исследователей — в хронологической амплитуде от последнего десятилетия XIX в. до самых первых "сезонов" века следующего. Не раньше, но и не позже.

Должно признать: здесь ПСМ представляют собой столь же резкое, сколь историософски и заурядное резюме столетней же консервативно-"романтической" реакции на французскую

революцию и на мир, ею созданный. ПСМ под эти углом — идеологически, да и литературно именно заурядная аннотация едва ли не всех основоположений той реакции, некогда, в самом своём начале, мыслительно-блистательно представшей у француза Жозефа де Местра, англичанина Эдмунда Бёрка, немецких романтиков эпохи их консервативной переориентации, а затем интеллектуально несколько потускневшей в так называемом "феодальном социализме" (превосходный термин авторов "Манифеста Коммунистической Партии", — кстати, в изобилии резонирующего некоторыми тезисами и паролями того "социализма";[4] термин, обозначивший огромный, хотя уже и достаточно монотонный массив-ансамбль идеологических явлений, связанных с не-леворадикальной антикапиталистической полемикой где-то от эпохи "Священного союза" до 1848-го года, явочным порядком вытеснившего ту высокоинтеллектуальную полемику именно леворадикальной критикой капитализма)[5].

ПСМ вполне отражают интеллектуальный упадок упомянутой "праворадикальной" романтической реакции на французскую революцию, упадок, наступивший в последней трети XIX века, с того времени с катастрофической быстротой превращающий тезисы той реакции в массовое достояние, в сумму вульгаризованных паролей, становящихся достоянием "улицы", едва ли не вечерних газет (по более позднему выражению писателя Набокова — "особенно тех, которые повечернее"). То есть ещё недавно эзотерическая доктрина — переходит именно в массовый статус.

Словом, если вспомнить выражение Достоевского, идея вышла на улицу.

ПСМ, таким образом, отразили именно этот, уже бесконечно сниженный уровень "феодально-социалистической" критики пореволюционной западной цивилизации, представив, вместе с тем, по своей номенклатуре едва ли не исчерпывающий список-ландшафт всех спазмов этой цивилизации: институтов законодательной и исполнительной власти, фритредерской экономики, тех или иных идеологических надстроек либерализма и т.д.

Здесь ПСМ, вслед уже совершенно измельчавшей столетней критике либерализма, вполне заурядно-эпигонски исчисляют все основные кризисные сюжеты тогдашней европейской структуры. Не лучше, но и не хуже множества других тогдашних текстов, сосредоточенных на такой критике.

То есть ПСМ в этом своём семантическом слое — это, скажем так, "социология для бедных", приближенная одновременно и к указанной реакционно-консервативной традиции, и к её массовому восприятию в условиях конца того века.

Но затем в идеологической системе ПСМ возникает другой семантический уровень — в некоей зловеще-прогностической тональности, кстати, в общем чуждый западному отрицательному рефлексу на французскую революцию и её политическое наследие. Дело в том, что ПСМ едва ли не с первых своих разделов возвещают окончательным результатом этой революции — некий грядущий, всеобъемлющий по своему характеру деспотизм, для точной характеристики которого вполне годится более поздняя лексема, сочиненная с тяжкой руки Муссолини — "тоталитарный".

Всеобъемлющий общественный кризис, охвативший, по ПСМ, Европу после французской революции, согласно их историософии, должен закончиться всеобъемлющим же деспотизмом, явля-ющимся главной целью того кризиса и главным же средством к его достижению. В описании того деспотизма ПСМ даже обнаруживают некоторый стилистический темперамент, несколько более яркие краски, чем в своих, в общем, довольно бесцветных инвективах наличному состоянию общества, перманентному его кризису.

И здесь ПСМ со всей необходимостью выше изложенных их признаков ведут в сторону — русскую сторону — их анонимного авторства и происхождения.

Дело в том, что, хотя западная— прежде всего французская — политическая жизнь прошлого века и прошла под знаком трехкратной, поначалу совершенно реальной, а впоследствии уже только желаемой трансформации либерализма в авторитаризм (два грандиозных исторических сеанса собственно бонапартизма — империя Наполеона Бонапарта

и Вторая империя его племянника, бонапартизм весьма ослабленный, едва ли не пародийный его сеанс — в виде так называемого "буланжизма"), но тамошняя историософская и политическая мысль всё же характерно проскользнула мимо наиболее отрицательных валентностей демократии (может быть, за исключением блестящего Алексиса де Токвиля, который такую её возможность вполне допускал — как весьма нежелательную, но, увы, достаточно реальную, а попозже — также историка Теодора Моммзена, постоянно предсказывавшего европейское будущее "назад", опрокидывая его в прошлое, в эпоху "консервативного революционера" Суллы, некогда положившего начало и римскому, и новоевропейскому "цезаризму", ср. тему Суллы — "Силлы" — в ПСМ)[6].

В резком отличии от западной русская консервативная мысль, от Карамзина, крайне болезненно переживавшего диктатуру Робеспьера до, например, уже Пуришкевича, бывшего среди прочего, поэтом-любителем и вот оставившего на стене Петропавловской крепости, куда он был заключен после февральской революции, стихотворные строчки, вроде "безумства семена дадут вам рабства всходы" — как бы графоманскую эпитафию той революции, — всю историю Нового времени, от диктатуры Кромвеля до диктатуры пролетариата, ***разумела прежде всего как неминуемую периодичность либерализма самой высшей пробы и наследующей ему столь же решительной тирании.***

Это — фундаментальная родовая черта русского консерватизма в его едва ли не двухвековой полемике с Западом (или, как писал Николай Страхов, в "борьбе с Западом").

Здесь не место и время ставить вопрос о том, как же эта мысль понимала или, скорее, обходила категорию, со времён письма Белинского к Гоголю называемую русской либеральной и радикальной интеллигенцией — "гнётом русского самодержавия". Не время хотя бы потому, что русский консерватизм сам этого вопроса никогда не ставил: попросту говоря, русское самодержавие он патриархально-благоговейно принимал, самодержавие же бонапартистское, — скажем, диктатуру обоих Наполеонов — яростно отрицал, мобилизуя

при этом самый внушительный индуктивно-историософский аппарат. И, среди прочего, отлично памятуя о радикально-либеральных истоках того — бонапартистско-западного — самодержавия.

Антигерой Достоевского, "вислоухий" Шигалев в "Бесах", не случайно говорит: "Я начинаю с безграничной свободы, а заканчиваю безграничным деспотизмом" (об исключительном значении "Бесов" в становлении ПСМ см. ниже). Но фразу эту ни один русский радикал ни при какой политической погоде не мог произнести — от того же Белинского до Сталина, который в предпоследний год своей жизни вдруг оскоромился защитой от упадочного Запада "знамени буржуазно-демократических свобод", якобы "выброшенных" там "за борт" (из речи на XIX съезде Коммунистической партии Советского Союза).

Словом, в состав "русской консервативной утопии" (термин её выдающегося знатока Анджея Валицкого) навсегда был включен-встроен некий социологический сейсмограф, меряющий на Западе чередование революции и тирании... Среди прочего, в наше время он особенно интенсивно работает в восходящем к этой утопии историософском поле солженицынской мысли, несколько загадочно отвергающей советское самодержавие, — очевидно, в силу его нелегитимного революционного генезиса, — и вполне лояльно приемлющей собственно самодержавие, освященное традицией.

Это — именно родовая черта русского консерватизма, его абсолютный идеологический лейтмотив.

Он-то и проходит через всю сюжетологию "Протоколов", от первого их параграфа до последнего, указуя тем самым на происхождение автора.

Таковы первые слои "протокольной" структуры, обращенные, как видим, в сторону весьма распространённого в ту пору "феодального социализма" самого позднего его издания. Литературно очень второго сорта, но при этом содержащего решительно все основные черты того социализма. Затем "протокольная" семантика обращается уже в несколько более экзотическую для тогдашнего западного — и массового и элитарного — сознания сторону. В сторону едва ли не столетнего

русско-консервативного ожидания революционного террора, вырастающего из самых глубин либерализма и затем застывающего в некоем навечном деспотизме.

Но, разумеется, указанный едва ли не планетарный иррационально-демонический эффект ПСМ, их, в терминах структуралистского понимания текста, "прагматику", всколыхнувшую кризисную человеческую толщу кризисного века, образует в самом тесном сотрудничестве с названными слоями текста, третий — и основной — его семантическо-композиционный слой.

Здесь всю свою памфлетную энергию ПСМ сосредоточивают исключительно на еврействе как на абсолютной казуальности европейского и всего мирового кризиса вообще.

Таким образом, ПСМ в своём идеологическом репертуаре поначалу указуют на всю серию кризисов, сотрясающих этот мир, начиная с 1789 года, перечисляют их, в сущности, общеизвестную номенклатуру (первый структурно-семантический слой "протокольного" текста).

Затем они дополняют этот слой, как видим, не столько "иудейским", сколько русским страхом близкой тирании, которой должно произойти прямо из либерального полуанархического состояния-хаоса послереволюционного европейского человечества.

И, наконец, вслед за тем упомянутый идеологический репертуар ПСМ содержит самые многочисленные указания на тех, кто тайно подготовил тот гиперкризис, тайно его поддерживает и — тайно готовится установить тот будущий сверхдеспотизм. На символизирующих мировое еврейство его "сионских мудрецов", тайную элиту неких его сверхконспираторов, вызвавших и вот углубляющих мировую нескладицу — в видах установления своего абсолютного над миром господства.

Таков, в самых общих чертах, структурно-семантический механизм ПСМ, его галлюцинаторно-порождающая грамматика. Таково устройство содержащейся в ПСМ мифологической западни, сопрягающей вполне реальные контуры новоевропейской истории — с вымыслом в самых крайних его формах. Западни, едва ли не чудовищной по своей уловляющей

массовое сознание мифоносной силе и суггестивности. Ту силу, многажды в этом веке про-демонстрированную и, похоже, вовсе не избытую, в преддверии века будущего. ПСМ — поддельный, но всегда готовый к предъявлению вексель, претендующий на крайнюю быстроту и строгость взыскания — в объёме всей указанной истории (а в некоторых своих наиболее радикальных параграфах, выявляющих сионско-еврейскую интригу уже с самой глубокой древности — в объеме всей истории вообще).

На пороге этого века француз Жорж Сорель, носитель, пожалуй, самой парадоксальной версии марксизма (скажем так, марксизма с уже совершенно обесчеловеченным лицом), обещал, что век этот пройдет под знаком тех или иных сверх-резонансных "мифов". По крайней мере, сам век сдержал обещание Сореля, учителя Муссолини, Гитлера, Троцкого, крайне левых и крайне правых радикалов. "Мифология" Сореля как раз предполагала спе-цифическое сочетание древнейших и более поздних ми-фологических схем в тех или иных их фрагментах — с теми или иными фрагментами же текущего, едва ли не злободневного политического и общеисторического процесса.

Гипотетический автор ПСМ в пору их создания ещё не мог читать Жоржа Сореля. Вместе с тем он как бы предвосхищает последнего, сочетая собственно миф — с историй.

Ещё раз попытаемся уточнить национальность этого автора — по самым характерным признакам его историософского и социологического "письма", распадающегося, как уже говорилось, на три столько же взаимосвязанные, сколько же идеологически и суверенные семантические слои-системы.

Итак, первый из них — вполне "космополитический", предельно вульгаризованный-упрощенный, изготовленный для массового употребления "феодальный социализм", массовый же негативный рефлекс на "французскую революцию" в самом общем значении ее явления и ее результатов. Примитив "феодального социализма" в самом позднем и самом массовом его издании, где крайне выразительную точку ставит в конце концов Адольф Гитлер в своем интервью английскому журналисту в начале 1930-х. На просьбу последнего представить

доктрину и цель национал-социализма в одной-единственной фразе — последовал мгновенный ответ: необходимо вычеркнуть из истории французскую революцию.

ПСМ на этом своём участке совершенно не оригинальны и именно "космополитичны": они "зачеркивают" всё идеологическое и институциональное наследие французской революции примерно в том же стилистическо-риторическом режиме, что и вся остальная правая европейская фельетонистика, исподволь, начиная с эпохи Священного союза, переинтонировавшая романтическую, весьма изысканную и весьма эзотерическую интеллектуально-эстетическую реакцию на названную революцию, — следуя вышеприведенной набоковской метафоре, — на язык вечерних газет.

Здесь ПСМ совершенно "наднациональны" и теряются в мировой галактике тогдашней словесности подобного свойства, предстают в самой безличной тождественности с ней.

Гораздо выразительнее происхождение ПСМ, их, так сказать, обратный адрес, просвечивает в теме близ грядущего деспотизма как неизбежного исторического продукта либерализма.

Для Западной Европы конца XIX — начала XX вв. — гипотетическое время создания ПСМ — тема эта была, в общем, неактуальна. За вычетом нескольких сильных интеллектов, среди которых первое место занимает, как уже говорилось, поздний Теодор Моммзен с его тогдашней интуицией "цезаристской" угрозы европейскому будущему.

И все же интуиция эта для тогдашнего Запада является маргинальной и соответственно становится уделом разных литературных маргиналов вроде Себастьяна Фора, идеологического спутника упомянутого Сореля, но уже не марксиста, а анархиста, автора книги "Мировая скорбь" (1895), где так же возникает "цезаристский" мотив, связанный с европейским будущим. Десятилетие спустя, тот же мотив возникает в исторических фантазиях другого, уже американского литературного аутсайдера Джека Лондона ("Железная пята") и вообще становится достоянием некоего экзотического китча, стихию которого, в тональности отчасти иронической, отчасти зловещей, описывает Томас Манн в своём замечательном рассказе

“У пророка” (1903), где и возникает образ богемной псевдолитературы, возвещающей некий грядущий сверхдеспотизм (окрашенный здесь, кстати, в подчеркнуто “христианские” цвета).

Россия же, как страна, знакомая с абсолютизмом не понаслышке, пристально, ещё с наполеоновских времен, куда более пристально всматривалась в проблему превращения радикального или либерального в деспотическое, проблему, с чрезвычайной лаконичностью очерченную Пушкиным в его образе Бонапарта и бонапартизма вообще: “Мятежной вольности наследник и убийца”.

Вслед за тем, самый напряженный интерес в России вызывает второе издание наполеонизма — Вторая империя Наполеона III, сама фигура тамошнего автократора, некогда начинавшего с участия в общеевропейской “карбонаде”, с полусоциалистической риторики, а закончившего узурпацией абсолютной власти. Интерес этот в России у разных сил был вызван разными причинами, но всегда и у всех носил характер самой крайней антипатии.

Консерваторы, — скажем, Федор Тютчев — ненавидели Наполеона III как инициатора Восточной войны, закончившейся для России поражением и унизительным для неё Парижским миром, так и за его шумную пропагандистскую кампанию против русской же политики в Польше.

Либералы, — например, Иван Тургенев и круг близкого к нему “Вестника Европы”, главного глашатая того либерализма — видели в Наполеоне III прежде всего убийцу либерализма французского, столь “матричного” для всего европейского континента.

Радикалы, начиная с Герцена и далее, ненавидели в лице Наполеона-второго реакционера, пустившего под откос великие упования европейской ультралевой 1848-го года, главного архитектора мещанской Европы последующих десятилетий, самым брутальным образом вынесшей те упования за скобки своей политической истории.

Вот так в России и возник, во множестве жанров, текстов и прочего, характерный право-либерально-радикальный образ

Второй империи и ее монарха, самый отрицательный образ тогдашней Франции как эталона европейской судьбы, начинающейся с революции, с институализации либерализма, а заканчивающейся крушением последнего и торжеством самого беспросветного деспотизма. Русские правые, левые и умеренные феномен Второй империи превращают именно в эталон западной цивилизации, развертывающейся в амплитуде, в терминах героя Достоевского, от безграничной свободы до безграничного деспотизма. Режим Наполеона III оказался едва ли не модельным для русского рефлекса на историю, о чем свидетельствует огромный массив соответствующих фактов и текстов.

ПСМ лишь один из них.

Самое скандальное крушение Второй империи и последующее столь интенсивное политическое утверждение либерализма во Франции, да и во всей Европе ничуть не ослабило в России ощущения той "модельности". Здесь главным фактором становится не то его торжество, а давешнее его поражение. Двадцатилетнее бонапартистское царство во Франции было и остается для тогдашней русской публицистики всех её направлений парадигматическим образом тогдашней западной цивилизации.

Правые усматривают в нём окончательное историческое наследство французской революции. Либералы — искажение этого наследства. Радикалы — грандиозную контрреволюционную диверсию.

Национальный литературный ландшафт этого постоянного русского наблюдения за Второй империей — и в пору ее сущест-вования, и после ее политической смерти — чрезвычайно обширен. Достаточно сказать, что по весьма убедительным наблюдениям, "Война и мир" возникает, среди прочего, именно в связи со злободневной полемикой со Второй империей, а образ толстовского Наполеона содержит скрытый шарж на Наполеона III. Можно также вспомнить исключительный читательский и литературно-критический резонанс в России 1870–90-х романистики и самой фигуры Эмиля Золя, создавшего грандиозный посмертный художественный

портрет Второй империи в “Ругон-Маккарах”. Очень характерна тогдашняя русская читательская ошибка: здесь эту эпопею воспринимали едва ли не злободневно –- как общественный пейзаж самой современной Франции. Как характерно и то, что ведущий публицист “Вестника Европы” и ведущий же комментатор непрестанно там печатавшихся сочинений Золя усматривал в них “бесчисленные и бесконечные описания “протокольного” типа” (1894 г.)[7].

Эта, скажем так, субкультура Второй империи в русском идеологическом репертуаре того времени с неизбежностью вела столь враждебную ей публицистику к тем или иным критическим по отношению к той империи текстам, уже совершенно ей “имманентным”, современным ей.

Так в марте 1865 г. Тургенев, несколько ранее в письме Полине Виардо набросавший весьма критическую картину одного из “имперских” ритуалов в Зале Штатов в Лувре (“император”, похожий, “по своему голосу на швейцарского профессора — профессора ботаники или нумизматики” и т.п.: “Боже мой! И подумаю только, что вся эта ветошь производит впечатление!.. Что я говорю? Она управляет миром...”), сообщает П.В.Анненкову о некоей “брошюрке, которая делает теперь такой страшный шум”[8].

“Брошюрка” эта — яростный антинаполеоновский памфлет французского писателя Луи Огюста Рожара “Les propos de Labienus” (“Речи Лабиена”), вышедшая в Брюсселе в 1865 г. Написанный в виде “монологов” и “диалогов” современников и соратников Юлия Цезаря, памфлет Рожара на самом деле обрушивается на Наполеона III и его ближайшее окружение. “Вещь, написанная удивительно!” (Тургенев).

Но вообще-то памфлет Рожара — лишь одно из бесчисленных явлений в ряду разножанровой антинаполеоновской публицистики, начинающейся где-то с трактата “18-е Брюмера Луи Бонапарта” Карла Маркса и “Возмездий” Виктора Гюго и вполне себя исчерпавшей в связи с политической катастрофой Наполеона III. “Речи Лабиена” Луи Рожара сегодня представляют интерес — в связи с поставленной в настоящем исследовании проблемой — единственно в виду своего удивительного

жанрового и идеологического сходства с памфлетом подобной же структуры и направленности другого французского антибонапартистского автора той эпохи, Мориса Жоли. “Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье, или Макиавеллистская политика в XIX веке” (вышел, по-видимому, тоже в Брюсселе, годом раньше, чем “Речи Лабиена”).[9]

Как известно, памфлет Жоли занимает исключительное место в проблеме возникновения ПСМ, так как они в значительной своей части представляют либо парафраз, либо прямой плагиат того памфлета. ПСМ буквально испещрены “скрытыми цитатами” из книги Жоли, цитатами, исчерпывающе выявленными и каталоги-зированными, скажем так, научно-объективным “протоколо-ведением”.

В самой Франции к концу XIX века, в связи с переменой политической конъюнктуры, с изменением всего национально-исторического пейзажа та антинаполеоновская памфлетистика была необходимо и прочно забыта. Но не в тогдашней России, чья правая оставалась и далее при своих представлениях о неотвратимости перехода от безоглядного либерализма до столь же безоглядной диктатуры.

Либералы Тургенев и Анненков обратили самое пристальное внимание на памфлет Рожара. Так ведь именно перу Тургенева принадлежит замечательный документальный очерк “Человек в серых очках” (конец 1870-х), в котором с исключительной силой и проницательностью представлены мировоззрение, характер и карьера как бы функционера того перехода. Очерк, который несомненно, является, возможно, одним из самых прогностических в том столетии, так как в нем русский писатель, едва ли не в профетической тональности, изображает носителя взглядов, вполне предвосхищающих позднейшие тоталитарные доктрины и поведение.

Гипотетический автор ПСМ, вооруженный той же исторической моделью, но уже с совершенно другой идеологической целью, весьма далекой от тургеневской, десятилетия спустя, создавая свой текст, обратился, впрочем, уже не к Рожару, а к Жоли — то есть к политической литературе, ведущей публицистическую войну со Второй империей. То, что на

Западе уже стало литературным антиквариатом, в русских условиях, в тамошней “борьбе с Западом” еще вполне сохраняло свою актуальность.

Памфлет Мориса Жоли, пылившийся на библиотечных полках, на исходе XIX века мог заметить — только русский зрачок. Хорошо ориентирующийся во французской политическо-публицистической литературе, но именно — русский...

Как и у Рожара, у Жоли политическая злободневность закамуфлирована — и весьма условно — “классическими” именами. В первом случае — Юлия Цезаря как “отца” “цезаристского”, авторитарного принципа, и военачальника Тита Ация Лабиена, поначалу сподвижника, а затем врага Цезаря. Во втором — имеет место столь же условный диалог между Монтескье, отцом европейского конституционализма, и его абсолютным антагонистом в большом европейском же времени — Никколо Макиавелли. Разумеется, последний предстает здесь в качестве апологета принципов и коллизий, воплощающих режим Наполеона III (или даже в качестве его мировоззренческого двойника).

Именно те речевые партии французского памфлета и были в изобилии “одолжены” у Жоли автором ПСМ. “Присутствие” Жоли в ПСМ таково, что последние подчас даже определяют как всего лишь плагиат первого. Что, разумеется, не совсем справедливо, хотя бы потому, что автор ПСМ не менее беспечно и не менее щедро “одалживался” у некоторых других авторов (см. ниже).

Но в данном случае для наших исследовательских целей важно другое. ПСМ пребывают в русле как бы “макиавеллистской” легенды о либерализме и демократии, необходимо преломляющихся в диктатуру. Легенда эта получила наибольшее мировоззренческое распространение именно в России и именно в связи с феноменом Второй империи, ту легенду в русском сознании всех его политических цветов как бы подтвердившим. Оттого литературное — пусть и неявное, в виде плагиата — воскрешение памфлета Жоли в ПСМ, — да ещё в пору, когда в самой Франции тот памфлет давно уже стал именно литературным антиквариатом ушедшей полити-

ческой эпохи — с большой долей вероятности должно было произойти в России. И если не "географически", то именно идеологически, в поле русской консервативной рефлексии, постоянно фетишизирующей собственное легитимное самодержавие, но, как видим, столь же постоянно опасающейся инонациональных, "конкурентных" диктатур, да еще революционно-радикально-либерального происхождения.

Риторически говоря, кому ещё в тогдашнем мире был интересен памфлет Жоли с его двусмысленными панегириками тирании.

Есть еще одно косвенное тому свидетельство, увы, упущенное из виду историографией "Протоколов", вполне подтверждающее истинно русский характер русской же "глоссы" либеральной революции, периодически сменяемой — уже "несменяемой" тиранией. Как же все-таки она проникла к "сионским мудрецам", здесь, в этом случае, едва ли не трагикомически-синонимически совпавших с мудрецами российскими?

И вот здесь приходится обращаться к тем немногим персонажам, с именем которых бесспорно связана импликация ПСМ сначала в российскую, а затем и общемировую действительность. При этом, по характеру нашего исследования, такое наше обращение будет носить характер подчеркнуто "литературный", "текстовый" а не специально биографический, требующий совершенно других методов и способов.

Согласно некоторым источникам, ПСМ к первым её русским издателям доставила Юстина Глинка (1844–1918), дама, принадлежащая столь же петербургско-русскому, сколь и европейско-космополитическому высшему свету. О ней известно немного, но уже известное позволяет провести как бы некоторую реконструкцию её, скажем так, идеологически-политического поведения. Фрейлина петербургского двора, петербургская "партизанка" теософки Блаватской, она представляет собой своеобразный реакционный дериват тогдашней феминистки в самом праворадикальном ее варианте, весьма парадоксальную фигуру как бы "дворцовой суфражистки", довольно распространенный тогда тип

идеологически озабоченной дамы, но озабоченной уже не “прогрессом”, а — как раз наоборот[10].

Она — “не совсем” Юлиана, как ее иногда именуют западные комментаторы ПСМ, а Юстина. Названная так, по-видимому, в честь её бабушки, родной сестры Вильгельма Кюхельбекера, прошедшего, кстати, после декабрьской катастрофы чрезвычайно сложный, сегодня еще плохо изученный путь от радикализма к специфическому пессимистическому консерватизму.

Полагаем, что это одна из важных слагаемых как бы наследственной реакционности Юстины Глинки, но лишь одна из многих.

Далее — Юстина Глинка принадлежит, в качестве племянницы, к разветвленному клану ультраконсерваторов Глинок: прозаика и публициста Сергея Глинки, поэта-мистика Федора Глинки, жены последнего Авдотьи Глинки, яростной салонной “охранительницы”, письменно призывавшей Герцена отказаться от пропаганды “хаоса и разрушения”.

Таков сам воздух молодости будущей активистки-охранительницы, взявшей на себя в 80–90-х гг. нелегкое функциональное бремя, пародийно напоминающее нелегально-революционную работу — но уже с совершенно противоположным политическим знаком.

В западной литературе о ПСМ Юстину (Юлиану) Глинку представляют, в общем, как заурядную стукачку, “агентессу”, как когда-то Анна Ахматова назвала Каролину Собаньскую, только уже не генерала Бенкендорфа, а действительного статского советника Петра Рачковского, на протяжении едва ли не трех царствований ведавшего русским политическим сыском за границей.

По мнению многих исследователей, ПСМ и возникают в недрах этого сыска.

Но, похоже, и сама фигура их распространительницы, и непосредственно сам генезис ПСМ — явления несколько более сложные.

Дело в том, что мимо внимания исследователей ПСМ совершенно и, так сказать, беспросветно прошло такое значительное

лицо в мистерии их возникновения, как отец Юстины Глинки. Дмитрий Григорьевич Глинка (1808–1883) — родной племянник Кюхельбекера, выраставший, среди прочего, в назидательной эпистолярной тени его сибирско-пиетистского раскаяния, его последовательного "антифаустианства" (см. мистерию "Ижорский"), с его обрядовым поэтическим пафосом Ветхого Завета, Иерусалима и Сиона, а несколько ранее — в почетной тени отца, — воспитателя великих князей Николая и Михаила Павловичей, преподававшего русскую словесность и другим членам императорской фамилии. Но эти, в общем, выразительные знаки наследственного консерватизма дополняются обстоятельствами куда более впечатляющими и — едва ли не катастрофически — приближающими нас к проблеме авторства ПСМ.

Дмитрий Глинка на всем протяжении николаевского царствования пребывал на дипломатической службе в Западной Европе, на разных дипломатических ролях, от Копенгагена до Лондона, а также во второстепенных, но имеющих хорошие династические связи с Санкт-Петербургом германских государствах. Пребывая в роли секретаря русского посольства в Лондоне, он тем самым пребывал и как бы дипломатическо-литературным секретарем-наблюдателем, пожалуй, самого фундаментального для истории прошлого века конфликта — между "реакционно-консервативным" Петербургом и его абсолютным антагонистом — "либеральным" Лондоном[11].

Литературно-историософский итог наблюдений Глинки не замедлил сказаться и в форме весьма оригинальной, — начиная с 30-х гг., он создает книгу на французском языке, первое издание которой называется "Очерк теории естественного права" (Берлин, 1832), а последнее — четвертое — "Наука о человеческом обществе" ("La science de la société humaine" (Париж, 1867; рус. перевод П.А.Бибикова, СПб, 1870). Это издание уже предстает в виде не "очерка", а фундаментального квазиюридического трактата, ныне уже напрочь забытого.

Итак, обратимся к тому, о чем писал здесь отец распространительницы ПСМ, которая постоянно превращала фамильный сверхконсервативный опыт в свое сверхреакционное дело.

Читая эту книгу, пожалуй, одну из самых загадочных в историософско-социологической литературе прошлого века, можно вспомнить полупародийные-полусерьезные строки Бориса Алмазова, младшего современника Глинки, из "молодой" же "редакции" свехконсервативного "Москвитянина" — строки о том, что "мы", то есть русские, не можем согласиться со "здравым смыслом юридическим, сим орудьем сатаны".

В общем, строки эти едва ли не исчерпывающе реферируют содержание глинковского трактата. Огромная специальная и общая эрудиция, внушительный аппарат, столь же внушительная, сколь и виртуозная система доказательств здесь мобилизованы на всем пространстве тогда известного юридического опыта, от глубокой древности до самой злободневной современности — мобилизованы для того, чтобы убедить в трагической диалектике права и ассистирующей ему свободы, диалектике, ведущей к разрушению того и другого и к дальнейшему господству "деспотизма" и "террора" (как мы помним, ключевые лексемы для некоторых параграфов ПСМ).

В связи с этим обратимся к едва ли не единственной в том веке серьезной аннотации всей, столь разнообразной юридической семантики Дмитрия Глинки: "Главная особенность социальной теории Глинки заключается в том, что он не отождествляет идею права с идеей свободы, как это делают немецкие метафизики, и не считает право силой, но строго разграничивает эти две идеи, которые, по мнению Глинки, управляют всеми общественными отношениями, находятся в постоянной борьбе друг с другом и вступают в различные комбинации. Право создается разумной волей, которая направляется на вещественный предмет и оставляет на нем следы труда. Но право становится только тогда правом, когда оно проникнуто идеей. В результате этого логического процесса является отпадение трудового элемента права и воплощение в общественных учреждениях таких, например, воззрений, что человек на вечные времена сохраняет право на вещи, которые раз составляли его собственность. *Полному развитию права противодействует идея свободы, вытекающая из принципа одина-*

кового духовного достоинства людей. В свою очередь идея свободы, логически развиваясь, приводит к отрицанию личного права, поглощению собственности в пользу общества, то есть опять таки к рабству личности. В действительности ни одна из этих идей никогда не может совершенно поглотить другую, но уже одно значительное преобладание одной из них ведёт или к деспотизму (право), или к террору (свобода). Теория Глинки построена не без таланта, но характер ее — чисто метафизический, хотя автор и громит немецких метафизиков" (выделено нами. — *В.С.*). [12]

Итак, там, где Глинка выходит за пределы юридических абстракций в область конкретных исторических результатов, скажем в позднейших терминах, правового общества, возникает нечто поразительно сходное с историософией ПСМ, в соответствующем своем слое пропитанных страхом перед любыми юридическо-правовыми смыслами и формами, как фатально-финально уводящими в сторону — авторитаризма и террора.

Так неожиданно смыкаются — и, по-видимому, не только типологически, но и генетически, благодаря дочери-посреднице — утонченнейшее юридическое реакционерство, ставящее под самое крайнее сомнение самые основания так называемого "правового общества" — и внешне примитивные суеверия политического лубка, на самом деле резонирующего вместе с тем всеми смыслами и бессмыслицами, накопленными тогда уже столетней критикой того "общества".

Дмитрий Глинка после Восточной войны очутился в фактически почетной дипломатической ссылке в Бразилии, куда в те годы, в эпоху реформ, могли отправить только самого крайнего реакционера, мешавшего либерально-правовой "перестройке" в империи. Он затем умирает уже в Лиссабоне — также бывшем в ту пору дипло-матическим захолустьем. Умирает в 1883 г., в окружении своих картин, которые он коллекционировал на протяжении своего богатого космополитического пути, и мы, разумеется, едва ли можем его заподозрить в непосредственном сочинении ПСМ (или хотя бы в соавторстве какой-либо степени).

Но представляется несомненным, что гипотетический автор ПСМ, наряду с названной публицистической книжкой Жоли (1864), жестоко, наряду с книжкой Рожара (1865), критикующей "авторитарную" Вторую империю, воспользовался, — разумеется, предельно вульгаризируя — основными мыслями глинковской книги, чье четвертое издание (1867) также явственно намекало, — дипломатично воздерживаясь от прямых выпадов — на этот "авторитаризм", который сам Наполеон III предпочитал, впрочем, называть "цезаризмом".

Для понимания феномена той книги нелишне указать на дальнейшее политическое поведение ее автора, весьма своеобразно дополняющее смыслы, заложенные в ее идеологической структуре, как указывалось, едва ли не целиком сосредоточенной на проблеме метаморфозы права в тиранию ли, в деспотизм ли.

Дело в том, что спустя почти полтора десятилетия после появления четвертого — французского — издания книги "Наука о человеческом обществе" след ее автора самым неожиданным — и самым характерным образом обнаруживается среди огромного количества записок, поступивших на имя известного графа Лорис-Меликова в возглавляемую им Верховную распорядительную комиссию, долженствующую на основе этих записок, содержащих предложения о преобразованиях как "слева", так и "справа", найти либо "конституционный", либо авторитарно-полицейский выход из российского политического тупика конца 1870-х годов...

Знаток того тупика и всей его весьма обширной литературно-бюрократической продукции историк П.А.Зайончковский, рассмотрев как бы эмблематическую пару среди тех записок — "проекты" консерватора Фадеева и либерала Богдановича — замечает, что "общим для обеих записок... является признание недостаточности одних репрессивных мер и необходимости известных реформ", добавляя к этому наблюдению следующее примечание: "Только в одной записке, исключая различные полицейские прожекты, не содержится требований каких-либо преобразований. Речь идет о записке посланника в Португалии, тайного советника

Глинки. По его мнению, для успешной борьбы с "крамолой" необходимо изменение порядка судопроизводства по отношению к "государственным преступникам", усиление полиции путем привлечения общественных сил, более суровое заключение политических преступников (длительное одиночное заключение, непрерывно повторяющиеся допросы и разного рода лишения" (см. ЦГИАЛ. ф. Канцелярии Министра внутренних дел, оп. 1, д. 642). [13]

Итак, проницательный критик европейского права, постоянно дрейфующего, по мнению Глинки, в сторону тотальной несвободы, предполагает главным орудием отечественной стабильности — именно такую несвободу. Да еще в своеобразном ее сочетании с "привлечением общественных сил"... Вот Юстина (Юлиана) Дмитриевна Глинка и предстает как самое полное воплощение такой общественной деятельности.

По некоторым данным она принимает некоторое участие в деятельности праворадикальной подпольной организации "Священная дружина", возникшей в условиях самой строгой конспирации после гибели Александра II — для охраны священной особы наследовавшего ему Александра III.

Эта организация преследовала цели как конкретно-политические, так и идеологические, создавая, скажем так, охранительную субкультуру.

Литературная продукция "Священной дружины", направленная на пропаганду главных ее идей, почти неизвестна (за исключением некоторых чисто "газетных" провокаций), но можно предположить ее существование — или хотя бы попытки к её осуществлению — исходя... из музыкальной её продукции, вполне зафиксированной эпохой.

Речь идет о некоторых фактах композиторской биографии П.И.Чайковского, предположительно связанных с его — несомненным — членством в "Священной дружине", куда он, потрясенный убийством Александра II, был вовлечен (скорее всего братом А.И.Чайковским, крупным московским судейским чиновником. Фамилии братьев П.И. и А.И.Чайковских см. в недавно обнаруженном списке членов "Священной дружины" за №№ 50 и 51).

На протяжении 1882-го г. Чайковский, именно в пору своего пребывания в "Дружине", особенно интенсивно трудится в области культовой музыки, а также создает музыкальное оформление московских коронационных торжеств, которым патронировала именно "Священная дружина" — и в полицейском отношении, и в отношении самого календаря этих торжеств, запоздавших в связи с тайными переговорами "Священной дружины" с руководством полуразгромленной, но все еще грозной "Народной Воли". А вслед за тем, осенью того же года композитор усиленно работает над оперой "Мазепа", либретто которой самым характерным образом принадлежит столь одиозному в либеральных и радикальных кругах В.П.Буренину, весьма раздражавшего своей фельетонной разнузданностью и самого Чайковского. См., например, именно раздраженные слова композитора о буренинской фельетонистике: "неприличие тона, сальность и мерзость выражений переходят решительно за границы всякого приличия".[14]

Тем загадочнее выглядит то обстоятельство, что после этих слов, написанных в 1879 г., Чайковский, спустя всего два года, в июне 1881 г., т.е. в самую пору первоначальной институализации "Священной дружины", приступает к работе над буренинским либретто, каковое, к слову, и предназначалось поначалу для К.Ю.Давыдова. Опера была завершена композитором накануне апрельских коронационных торжеств 1883 г., проходивших, по-видимому, под тайным патронатом "Священной дружины".

Итак, Чайковского с его либреттистом свела некая необходимость, вполне отодвинувшая личные антипатии...

"Мазепа", — пожалуй, единственная опера Чайковского, скажем так, государственно ориентированная, с ее достаточно помпезным музыкальным пейзажем полтавского сражения. Но более всего любопытен в этом произведении отрицательный музыкальный образ антигосударственного ***заговора***, глубоко ***законспирированной политической интриги*** демонического героя и его сообщников (нелишне напомнить, что при этом братья Чайковские возводили свое происхож-

дение к "мазепинскому сотнику" "Чайке" — генеалогия совершенно фантастическая, так как указанный Чайка действительно украинского, но куда более позднего и куда более демократического происхождения). Но, во всяком случае, "Мазепа" — уникальная в наследии композитора музыкальная картина ***некоего экстремистского подполья, предреволюционного "бесовства"***, весьма возможно подсказанная художнику не только трагическими коллизиями русской истории той поры, но и "братьями" по "Священной дружине", искавшими средства против революционного экстремизма на всех политических и общественных путях.

Но если "Священная дружина" заказывала музыку, она могла заказать и "литературу"...

Юстина (Юлиана) Глинка, чье духовное становление проходило, несомненно, в тени указанной отцовской книги, несомненно, была склонной к созданию или хотя бы к рецепции и становлению такой литературы.

Не случайно силуэт Юстины Глинки на мгновение возникает в "Еврейской Франции" Эдуарда Дрюмона — книге, являющейся центральным литературно-идеологическим событием во французском антисемитизме "конца века". Гроссмейстер этого антисемитизма свою яростную юдофобскую риторику подкрепляет множеством "фактов", от вполне мистифицированной статистики до столь же "субъективных" свидетельств тех или иных авторских единомышленников.

Реальное и ирреальное — подчас даже уже совершенно фантасмагорическое — безнадежно перепутаны в калейдоскопе этой мифологизированной "фактичности", сегодня уже не поддающейся ни рационалистической ее проверке, ни хотя бы некоторому рационалистическому же объяснению: книга Дрюмона — это прежде всего яростный публицистический миф, жанрово притворившийся социологическим и психологическим "анализом" тех или иных дефектов и кризисов тогдашней Третьей республики.

Итак, некая русская дама — "это сестра посла России в одном большом государстве, женщина высокого разумения и обстоятельного духа" — появляется в "Еврейской Франции" в

качестве столько же мимолетной, сколько и авторитетной свидетельницы еврейских интриг, да еще в страдательном качестве, как "натерпевшаяся" от таковых[15].

И в этом эпизоде вполне сказывается мифологическая техника автора, без конца смешивающего ту или иную реальность с ее искажением, вплоть до прямого вымысла. Анонимная русская дама у Дрюмона — это бесспорно Юстина Глинка, бывшая, впрочем, не "сестрой", а дочерью "посла России", — и не в "большом государстве", а в Португалии, бывшей в ту пору, как уже говорилось, дипломатическим захолустьем... (впрочем, у нее, кажется, действительно были и братья, занимавшие немалое место в дипломатической иерархии, но — двоюродные...).

"Литературная" и другая карьера Ю.Д.Глинки начинается где-то с общения с Дрюмоном и продолжается вплоть до совсем уже другой эпохи...

В известном исследовании С.Ю.Дудакова говорится: "Другой антисемит, полковник Ф.В.Винберг, в своей книге "Корни зла" удостоверил "историческое событие": на квартиру Распутина 16 декабря 1916 г. (накануне убийства — *С.Д.*) явилась одна из русских женщин, горячая патриотка, старая писательница, владевшая многими тайнами масонства, за что вытерпела немало мук и горя в своей жизни". Она предупредила фаворита, что тот за свои услуги сатанинским жидомасонским силам будет наказан".

"Нетрудно идентифицировать "русскую женщину", описанную Винбергом, с Е.А.Шабельской". [16]

Но, весьма возможно, что, помимо шестидесятилетней беллетристки Шабельской, этой "русской женщиной" могла быть и "русская дама" — гостья Дрюмона — семидесятилетняя Юстина Глинка, не чуждая литературе, проходившая и в "Еврейской Франции" и в воспоминаниях С.А.Нилуса именно как натерпевшаяся от евреев. Кстати, в начале века Ф.В.Винберг, тогда еще поручик-улан мог встретить Ю.Д.Глинку, исстари теософку, в посещаемом им петербургском оккультном кружке (легальное название — "Кружок для исследований в области психизма").[17]

Похоже, что рассказ позднего Н.С.Лескова "Зимний день (Пейзаж и жанр)", представляющий собой самый "разгромный" портрет петербургской элиты, содержит — и весьма похожий — портрет Юстины Глинки, добровольной "функционерки" некоего полулегального ультрареакционного движения, некоей "Олимпии", пожилой дамы, спасающей Россию и пребывающей в соответствующих разнообразных хлопотах (впрочем, у "Олимпии" есть и другие реальные прототипы).

Множество деталей в сюжете этого замечательного рассказа и в самом образе "активистки" Олимпии удивительно резонирует со всей суммой фактов, дошедших до наших дней от того реального прообраза.

Итак, не исключена некоторая доля соавторства в ПСМ Юстины Глинки, транслировавшей туда — либо устно, либо даже письменно! — некоторые отцовские постулаты, бьющие в самую основу европейской юридической крепости...

Но есть и другие, еще более многочисленные "русские" литературные следы в ПСМ.

ПСМ ***сплошь испещрены цитатами*** — преимущественно скрытыми — из самого популярного, едва ли не школьного репертуара русской литературной классики XIX века, цитатами, указующими как на очевидное знакомство автора с этой классикой, так и на его возможное национальное происхождение, — собственно, на русское гимназическое отрочество, на уроки в нем русской словесности, — если уж не по В.В.Сиповскому, то еще по А.Д.Галахову (авторы соответствующих гимназических курсов-канонов).

"Гои — баранье стадо, а мы для них волки. А вы знаете, что бывает с овцами, когда в овчарню забираются волки?.." ("Протокол № 11-й"; с. 92).

"Крамольничество есть ничто иное, как лай моськи на слона. Для правительства, хорошо организованного не с полицейской, а с общественной стороны, моська лает на слона, не сознавая его силы и значения" ("Протокол № 19-й"; с. 118).

"Мудрецы" здесь изъясняются с помощью хрестоматийных образов выдающегося русского баснописца, кстати, в первом случае, инверсировавшего — в эпоху известного патриотичес-

кого подъема — сюжет волка в овчарне, в "волка на псарне", с прямой целью ***антинаполеоновской*** пропаганды, столь выразительно резонирующей в "Протоколах".

Этот образ в "Протоколах", приглашающий читателя вспомнить притчевую ситуацию "волка в овчарне", вместе с тем едва ли не явственно резонирует хрестоматийной завязкой знаменитой русской басни о "волке на псарне", завязкой, всплывшей в русской литературной памяти автора и тут же сюжетно прерванной — в сторону потребную автору.

Но почему в той памяти всплыл — крыловский "Волк на псарне"?

"Протоколы сионских мудрецов" — это памфлетный портрет прежде всего французской цивилизации.

Русская идеологическая полемика с ней начинается, среди прочего, с патриотического басенного цикла, созданного И.А.Крыловым в 1812 году, куда входит и "Волк на псарне". Хотя в этом веке некоторые исследователи пытались отрицать зависимость басни от исторической действительности и рассматривали сюжет Крылова как "восходящий к древности", но массовое сознание века прошлого связывало басню единственно с Отечественной войной 1812 года. Автор "Протоколов" вполне разделял это общее представление о происхождении "Волка на псарне", — скажем, на исходе 1880-х известный исторический беллетрист Г.П.Данилевский в романе "Сожженная Москва" изобразил Кутузова, читающего вслух крыловскую басню.[18]

Появление крыловской аллюзии в "Протоколах" прочно вписывается в их полемику со всей послереволюционной французской политической суммой, включая обоих Наполеонов, послуживших здесь главной исторической моделью и актуального интриганства и грядущего деспотизма "сионских мудрецов".

В ПСМ довольно часты "латентные" же цитаты из Пушкина — как "общедоступного", так и достаточно эзотерического. Собственно, они даже завершаются скрытой цитатой из Бориса Годунова — парафразом строк из предсмертного монолога-назидания Бориса царевичу:

О милый сын! Ты входишь в те лета,
Когда нам кровь волнует женский лик.
Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами в порочных наслажденьях
В младые дни привыкнул утопать,
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден
И ум его безвременно темнеет.
В семье своей будь завсегда главой;
Мать почитай***, но властвуй сам собою*** –
Ты муж и царь...

Сравни "каденцию" последнего — "двадцать четвертого" — "протокола", то есть всего текста "Протоколов Сионских Мудрецов":

"Царь Иудейский не должен находиться под властью своих страстей, особенно же — сладострастия: ни одной стороной своего характера ***он не должен давать животным инстинктам власти над своим умом. Сладострастие хуже всего расстраивает умственные способности и ясность взглядов,*** отвлекая мысли на худшую и наиболее животную сторону человеческой деятельности.

Опора человечества в лице всемирного владыки от святого семени Давида ***должен приносить в жертву своему народу все личные влечения.***

Владыка наш должен быть примерно безупречен". ("Протокол № 24-й", с. 133).

Далее.

"Не род, а ум поставлю в воеводы" ("Борис Годунов") — "На развалинах природной и родовой аристократии мы поставили аристократию нашей интеллигенции..." ("Протокол № 1-й"; с. 63).

"Все так называемые либералы суть анархисты если не дела, то мысли. Каждый из них ***гоняется за призраками*** свободы, впадая исключительно в своеволие..." ("Протокол № 12-й"; с. 95).

Сравни пушкинский перепев Горация:

Кто из богов мне возвратил,
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за ***призраком свободы***
Нас Брут отчаянный водил?

Очевидно сходство между картиной "прессы", "торжества свободоговорения", пребывающих в "наших руках" и споспешествующих еврейскому капиталу, и образом, так сказать, первоначального накопления в "Скупом рыцаре".

Итак, "великая сила" — "пресса".

"Через нее мы добились влияния, сами оставаясь в тени, благодаря ей мы собрали в свои руки золото, не взирая на то, что нам его приходилось брать ***из потоков крови и слез***". ("Протокол № 2-й"; с. 65).

Да! Если бы все ***слезы, кровь*** и пот,
Пролитые за всё, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь ***потоп***...

Еще одна фраза в "Протоколах" резонирует на одну из самых выразительных строк в "Борисе Годунове".

"***Народ завопил*** о необходимости разрешить социальный вопрос..." ("Протокол № 9-й", с. 83).

Из монолога Бориса:

Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая...

Нижеприведенный эпитет к слову "толпа", — при всей распространенности этого эпитета, начиная с эпохи массовых форм романтизма, — возможно, вместе с тем, также восходит к Пушкину.

"Одни иезуиты могли бы... с нами сравняться, но мы их сумели дискредитировать в глазах ***бессмысленной толпы***..." ("Протокол № 5-й", с. 78).

Сравни "Моцарт и Сальери":

А Бонаротти? Или это сказка
Тупой, ***бессмысленной толпы*** — и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Вместе с тем в ПСМ, как уже указывалось, возникает троп, заимствованный из менее "популярного" Пушкина — из его перевода Горация, помещенного в прозаический отрывок "Цезарь путешествовал" ("призрак свободы").

В ПСМ явственны аллюзии на некоторые доминантные образы произведения, прочно вошедшего в либеральный и радикальный каноны русской литературы. Речь идет о "Железной дороге" Некрасова, где демократическое народничество сталкивается с аристократическим презрением к массе со стороны пассажира, в пальто "на красной подкладке".

Итак, замещение в условиях Нового времени власти "аристократии" и монархии — властью голода, "хронического недоедания и слабости рабочего".

"***Голод*** создает права капитала на рабочего вернее, чем аристократии давала это право законная ***Царская власть.***

Нуждою и происходящею от нее завистливой ненавистью мы двигаем толпами..." ("Протокол № 3-й", с. 68).

... В мире есть ***царь***: этот ***царь беспощаден,***
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей...
Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе...

Демофобия ПСМ, наряду с другими ее образами, предлагает и такие:

"***Толпа — варвар,*** проявляющий своё варварство при каждом случае... Взгляните на наспиртованных животных, одурманенных вином... народы гоев одурманены спиртными напитками..." ("Протокол № 1-й", с. 61).

Демофоб-генерал в "Железной дороге" "захохотал":

Вот ***ваш народ***...
— Ваш славянин, англо-сакс и германец

Не создавать — разрушать мастера,
Варвары! Дикое скопище пьяниц!..

Есть и другие, вполне очевидные “русские” следы в литературном составе “Протоколов”.

В ПСМ тема грядущего “патриархального” деспотизма вдруг неожиданно сходится с антинаполеоновской легендой русской литературы, выраженной в этом случае куда основательнее, чем в упомянутой басне Крылова. Речь идет о язвительнейшей цитате из политической прозы Наполеона в “Войне и мире” — в ответственейшем, “бородинском” эпизоде романа, — об императорской утопии грядущего, якобы совершенного мира, в котором цезарь с супругой собирается “посещать, как настоящая деревенская чета, на собственных лошадях ***все уголки государства***, принимать жалобы, устраняя несправедливость, ***рассеивая во все стороны знания и благодеяния***” (Пер. с французского).

В “Протоколах” возникает — в тех же патриархальных декорациях — совершенно схожая картина:

“Когда мы будем признанной властью, то ***мы с народом будем беседовать лично на площадях и будем его учить по вопросам политики*** в том направлении, какое нам понадобится.

Как проверить, что ему преподают в деревенских школах? А что скажет посланник правительства или сам царствующий, то не может не стать известным тотчас ***всему государству***, ибо быстро будет разнесено голосом народа”. (“Протокол № 9-й”, с. 84).

В “Протоколах” несколько раз употребляется слово “публика” — и именно в том его весьма специфическом “социологическом” значении, которое было общепринятым единственно в “линг-вистике” русской консервативной мысли второй половины XIX в., начиная с некогда знаменитой (но до сих пор полностью не напечатанной) статьи Константина Аксакова “Публика — народ” (“Молва”, 1857, №36); (“публика”, по разумению автора, это как бы неорганическая часть демографической структуры страны, совершенно внеположная собственно “народу”).

"Администраторы, выбираемые нами из ***публики***, в зависимости от их рабских способностей, не будут лицами, приготовленными для управления, и потому они легко сделаются пешками в нашей игре..." ("Протокол № 2-й", с. 64).

"Гои идут в ложи из любопытства, или в надежде при их помощи пробраться к общественному пирогу, а некоторые для того, чтобы иметь возможность высказать перед ***публикой*** свои несбыточные и беспочвенные мечтания. ("Протокол № 15-й", с. 105).

Это совершенно русское словоупотребление, к концу прошлого века превратившееся в самое общее место правой публицистики, удивительным образом трансформировавшееся впоследствии, в начале века нынешнего, в уничижительный троп "эта публика", а уже в советскую эпоху — в пресловутых "механических граждан" Горького.

"Публика" в "Протоколах" — самый резкий лексический сигнал их русского происхождения.

Но все эти "русские" следы в текстовой организации ПСМ со всей историко-литературной необходимостью ведут в сторону самого их "жанрового" родословия, бесспорно связанного именно с русской литературой. Собственно, с вульгаризованным превращением в ПСМ некоторых как бы стратегических тенденций и устремлений той литературы. И, как это ни горестно, начнем здесь с Пушкина.

В русле старинной русской литературной "борьбы с Западом" столько же заметное, сколько и своеобразное место занимает предсмертный пушкинский этюд "Последний из свойственников Иоанны д'Арк" (1837), представляющий собой необыкновенно искусную стилизацию квазиэпизода вольтеровской биографии, в котором самый ***простодушный консерватизм*** входит в конфликт с самой авторитетной фигурой западного Просвещения — и оказывается победителем. Якобы "последний из свойст-венников" Жанны д'Арк (помимо её родного брата Луки д'Арк дю Ферона), провинциальный дворянин, весьма шокированный "сочинением об Орлеанской героине", которое "издал" "некто Mr. De Voltaire", написал ему письмо, наивно потребовав от "издателя" "удовлетворения за

дерзкие, злостные и лживые показания", которые тот "дозволил" себе "напечатать касательно вышеупомянутой девственницы". Письмо, завершающееся следующим — самым недвусмысленным — образом: "Итак, прошу вас, милостивый государь, дать мне знать о месте и времени, так же и об оружии, вами избираемом для немедленного окончания сего дела."[19]

Далее следует "ответ" Вольтера, явно испугавшегося "шуму, который мог бы из того произойти, а может быть и шпаги щекотливого дворянина". Ответ, исполненный того "испуга" — в виде лицемернейшего отказа писателя от самого участия "в составлении глупой рифмованной хроники", отказа дополненного цитацией апологетических строчек о Жанне в "Генриаде", а также "сожалением" о том, что писатель-де "не посвятил слабого своего таланта на прославление Божиих чудес, вместо того, чтобы трудиться для удовольствия публики бессмысленной и неблагодарной".

Далее следует комментарий некоего "английского журналиста" "по поводу напечатания сей переписки", отмеченный самым скептическим отношением к французской литературе Просвещения и к самому Просвещению, не только не оценивших подвиг Орлеанской героини, но и подвергших его беспощадному травестированию — в виде Вольтеровой поэмы, принятой в ту пору с таким "восторгом".

"Пастиш Пушкина" (Анна Ахматова) представляет собой, при всей виртуозной его стилизации под историко-литературную "мелочь", своего рода итог более чем двадцатилетней полемики поэта с новоевропейской цивилизацией, полемики, в его творчестве мерою стихавшей и мерою нараставшей. Эмблематическая фигура европейского Просвещения, подготовившего французскую революцию и последовавшие за ней событийные ряды, здесь подвергается условному развенчанию — ***на основе условного события, в реальной вольтеровской биографии места не имевшего.***

"Пастиш Пушкина" даже стилистически завершает его личную мифологию Нового времени, сам исторический "дебют" которого в "Скупом рыцаре" означен трагической репликой Герцога — "Ужасный век! Ужасные сердца!", явственно ото-

звавшейся затем в "горестных заметах" "английского журналиста": "Жалкий век! Жалкий народ!" Кроме того, столь же характерно здесь, что в тех "заметах" слово о неимоверном успехе "книги, в которой презренье ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма", очевидным образом перекликаются с пушкинской же оценкой североамериканской демократии, данной незадолго до того "по Токвилю", автору, в границах тогдашних интеллектуальных возможностей, эту демократию едва ли не исчерпывающе представившего: "Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме..." ("Джон Теннер").[20] Нелишне также заметить, что апологетическая поэма английского консервативного поэта "Соуте"-Саути о Жанне д'Арк, стилизованная под средневековые жанры, здесь названа "подвиг честного человека и плод благородного восторга" — сравни известную пушкинскую характеристику консервативной же историографии Карамзина, "нашего последнего летописца": "История государства Российского" есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека."

Столь ответственное место "Последнего свойственника Иоанны д'Арк" в "иерархии" пушкинских "предметов", если вспомнить известное выражение Льва Толстого, чрезвычайно усиливает значение основного средства указанного пушкинского текста: ***художественно дозволенного, но бесспорно внеюри-дического замещения определенной общеисторической или персонально-биографической реальности самым откровенным вымыслом, намеренным ее преобразованием*** — в соответствии с идеологическими и другими интересами автора.

"Пастиш Пушкина", художественно вполне продолживший именно внеюридические обвинения, содержащиеся в "Борисе Годунове" и "Моцарте и Сальери" с их основоположными мотивами, исторической наукой так и не доказанными, а то и вовсе опровергнутыми, едва ли не впервые опробует в русской литературе специфический, потенциально очень опасный жанр тотальной подделки исторической действительности —

в угоду той или иной ее интерпретации. Подделки, морфологически устроенной таким образом, что индивидуальная или коллективная “личность” свидетельствует в той или иной социально-исторической или морально-этической ситуации против самой себя — в самом личном “местоименном” режиме, говоря “я” или “мы”... Выявить “подноготную” того или иного явления или лица — именно от его “первого лица” — вот главная задача жанра, выполнение которой необходимо вызывает немалую суггестивность текста, его подчас огромный читательский эффект.

“Пастиш” — это в сущности именно самая суггестивная разновидность пасквиля (скажем, того самого, который рассылался по почте в Санкт-Петербурге примерно в те дни, когда завершался “Последний из свойственников Иоанны д’Арк”, и стал одной из последних причин дуэли Пушкина).

Соответствующий жанровый семафор был открыт.

Одно из самых оригинальных произведений в той же русской литературно-идеологической “борьбе с Западом” — “Русские ночи” князя В.Ф.Одоевского, трудноопределимы по своему жанру. Оставляя в стороне чрезвычайную сложность содержания “Русских ночей”, претендующих на беллетризованное представление едва ли не всей умственной суммы Нового времени, надлежит обратить внимание — в связи с упомянутою их жанровой сложностью, — что “Русские ночи” сюжетно развертываются в виде как бы нескольких новелл о сумеречном, кризисном состоянии европейского духа, новелл, объединенных как “культурологически”, так и риторически, то есть чисто романтическим приемом свободного “полуфилософского” комментария к действию, напряженнейшим “сократическим диалогом”, которому предаются русско-петербургский “Фауст” и его друзья.

“Русские ночи” — это несколько как бы новеллистических “Закатов Европы”, несколько именно эсхатологических новелл, каждая из которых представляет свое измерение и видение европейского кризиса.

“Ночь третья (рукопись)”, которая в самом тексте условно названа “Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi”, рассмат-

ривает фундаментальное для Нового времени противоречие между титаническими его амбициями — его как бы сверхпроектами — и принципиальной невозможностью к их завершению и даже просто к начинанию.

"Бригадир" — картина крайнего умаления человека, его самоотчуждения, достигающего некоего экзистенциального предела, предвосхищающего бесчисленные "кафкиады" нынешнего века.

"Последнее самоубийство" и "Город без имени" — фантастическое сослагательное наклонение, до планетарной катастрофы включительно, эгоистического целеполагания как принципа новейшей цивилизации, наиболее последовательно воплощенного, по мнению автора, в "бентамовской" морали.

"Последний квартет Бетховена" — столь же фантастическое допущение в отношении искусства, в условиях новоевропейского безудержного индивидуализма, разрушающего все ранее общепринятые конвенции, и тем самым преломляющееся в хаос, в самую крайнюю дисгармонию.

"Импровизатор" — новелла о демонических безднах крайнего рационализма, ассистирующего крайнему же индивидуализму.

Таким образом, "Русские ночи" исчисляют всю номенклатуру "западных сумерек".

Дистанцируясь от исключительно сложной семантики этих новелл, вместе с тем необходимо отметить в них единый сюжетно-фабульный принцип: все они предстают преимущественно как ***обнаруженные в некоем гипотетическом архиве анонимные рукописи***, фиксирующие ту или иную сторону упомянутого кризиса — предположительно его именно анонимным свидетелем.

Таким образом, "Русские ночи", среди прочего, это система культурологических "пастишей", в которых, на основе названного условного литературного приема, европейская цивилизация как бы сама "исповедуется" в своих самых сокровенных изъянах, ошибках и просчетах.

Но это — именно условный литературный прием, который в данном случае не скрывает своего "конвенционального"

характера. В других же, более резких случаях, такой прием может претендовать на безусловность, художественным результатом которого может быть галлюцинация подлинности, вызванная, как видим, таким искусственным образом.

Именно такой характер носит следующий антизападный "пастиш" пера князя Павла Вяземского (Вяземского — младшего, см. ниже).

В "Ночи первой" "Русских ночей" появляется как бы их главный герой-комментатор, называемый его "приятелями" "Фаустом", сочетающий казалось бы самое заурядное светское обличие с огромной интеллектуальной энергией. "Русский" "Фауст" в режиме предельно напряженной полемики с западным рационализмом комментирует основные сюжеты "Русских ночей", охваченный стремлением к построению некоей целостной культурной модели, в которой, в соответствии с главными интенциями русского "шеллингианства", им намечается органический синтез всех предшествующих достижений новоевропейской культуры, но уже без их односторонности, без сопутствующего им отчуждения человека этой культуры.

"Фауст" — энтузиаст-идеолог такого синтеза, в котором, в частности, встречаются "естественнонаучное" и "гуманитарное".

Тем самым "Русские ночи" предстают как одно из вершинных художественно-интеллектуальных достижений русских "сороковых годов".

Возможный резонанс этого образа, являющегося, по-видимому, alter ego князя В.Ф.Одоевского, имеет место в псевдониме второстепенного русского писателя и журналиста, по образованию и врача, и юриста М.В.Головинского (? — ум. 1920 г.) — Docteur Faust (хотя, разумеется, в псевдониме этом очевиден и отзвук имени героя знаменитой французской оперы, созданной композитором-мистиком Шарлем Гуно в 1858 г.).

Вместе с тем обратим внимание на специфический французский фон "протокольной" структуры.

Н.О.Лернер в связи с мистификациями Пушкина, замечает, что в его библиотеке была книга Шарля Нодье "Вопрос о легальной литературе", в которой немало говорится о лите-

ратурных подделках (Нодье и сам был мастером на такие подделки)"[21].

Почти одновременно с Лернером об этой книге Нодье вспомнил А.И.Белецкий — в связи со своими попытками построить историко-литературную типологию читателя, на определенном этапе рецепции тех или иных "чужих" текстов воспринимающего-воспроизводящего их уже как "свои"[22].

Указанная книга Нодье ("Questions de la littérature légale") — первый в XIX столетии историко-литературный сигнал к возникновению важной для этого столетия проблемы. Проблемы "текстов", возникающих едва ли не исключительно на семантической и синтаксической основе других "текстов". По крайней мере, усиленно "цитирующих" их — скрыто, а то и явно.

Уже пушкинское творчество представляет собой, если вспомнить известное выражение Анны Ахматовой, "одну великолепную цитату" предшествующего и национального, и мирового литературного опыта[23].

В самом конце XIX — начале XX века проблема такого "цитирования" превратилась в тогдашнем литературном процессе едва ли не в центральную.[24] Обращение Лернера и Белецкого к книге Нодье, некогда ту проблему впервые означившего, — характерное свидетельство четкого историко-литературного осознания таковой — при этом на материале преимущественно французской литературы.

А.И.Белецкий, мимоходом рассмотрев технику средневекового (главным образом, византийского) центона — т.е. "стихотворения, целиком составленного из строк других стихотворений" (М..Л.Гаспаров), переходит к "центонным" усилиям новейших авторов, в частности французских. Анатоль Франс для него — самый резкий пример "читателей-авторов", т.е. "читателей, взявшихся за перо". В режиме некоторой эстетической крайности исследователь утверждает: "Так называемое творчество А.Франса — это обширная и со вкусом убранная библиотека, где он сам — услужливый и любезный распорядитель, с головой, набитой цитатами и литературными впечатлениями от произведений всех стран, веков и народов; недаром где-то он сам называет книги — опиумом Запада;

накурившись этого опиума, он начинает грезить, и в грезах его — не впечатления от предшествующей сну действительности, а впечатления из книг, повторенных иногда с добросовестностью полного творческого бессилия. Этот "библиотекарь в поэзии" (выражение одного из французских критиков) недаром в жизни своей явился сыном книгопродавца... Что всего курьезнее — это то, что сам А.Франс хорошо знает эту свою особенность и в четвертой книге своей "Литературной жизни" поместил две заметки под парадоксальным и вызывающим заглавием "Апология плагиата": в конечном счете он отстаивает свое право, право читателя — браться за перо; но забавно, что эта "Апология плагиата" так же, если не плагиат, то опять воспоминание о прочитанном когда-то произведении Ш.Нодье "Questions de la littérature", удивительно предвосхитившем его мысли". [25]

Ситуация вокруг Анатоля Франса — эмблематична в отношении всей тогдашней французской литературы, на верхних своих этажах предающейся самому изысканному, скажем так, "центонированию" (можно, среди прочего, снова вспомнить разножанровые, но весьма глубокие рефлексы Леконта де Лиля и Вилье де Лиль Адана на "легенду о Великом Инквизиторе", в сущности, единственно ими во Франции тогда и замеченной). "Высокая" литература "пересказывала" самое себя — но ведь исстари этот процесс происходил и в литературе "низовой", предназначенной уже не для элитарного, а массового употребления. "Плагиат" здесь уже был предметом не "апологии", не утонченной литературной игры, но едва ли не главной реальностью, основой соответствующего литературного поведения.

Скажем, "маргинальный" французский роман — авантюрный, полицейский, квазиисторический, экзотический, эротический и т.п. — предстает как система его сюжетных и других самоповторений (можно вспомнить "классический" случай "Маттиаса Сандорфа" Жюля Верна, "переписавшего" фабулу "Графа Монтекристо", — впрочем, с разрешения автора последнего, случай, вполне продолживший соответствующую традицию "низовой" литературы, выразительно представленную в "китчевой" продукции молодого — еще "псевдо-

нимного" — его периода, Бальзака и успешно продолженную затем в "бульварной" литературе "конца века").

ПСМ возникли в этой специфической, раскаленной атмосфере тогдашнего французского тотального плагиата, высокоинтеллектуального "наверху" и ремесленно-делового (а потому уже совершенно безудержного) "внизу".

В режиме некоторой саморефлексии они содержат указание на свою связь с литературным "низом". "В странах, называемых передовыми, мы создали безумную, грязную, отвратительную литературу, — говорится в самом конце "Протокола № 14-го". — Еще некоторое время после вступления нашего во власть мы станем поощрять ее существование, чтобы она рельефнее обрисовала контраст речей, программ, которые раздадутся с высот наших..." (с.102).

Массовая литература в своих претензиях обрести более высокий эстетический ранг почти ритуально — и совершенно риторически — заявляет, в сюжетах ли, в отдельных репликах героев и т.п. — о своем дистанцировании от тех или иных стереотипов той же литературы. В "Бегущей по волнам" Александра Грина, прозу которого Анна Ахматова называла "переводом с неизвестного", очевидно имея в виду ее несомненную жанровую зависимость от западной авантюрной литературы, встречается очень резкий пример такого дистанцирования: герой рассказчик с недоумением видит в библиотеке капитана-интеллектуала "Бегущей", — "рядом с Теккереем и Мопассаном", — "бесстыдные обложки парижской альковной макулатуры".[26]

Разумеется, "безумная, грязная, отвратительная литература" в "Протоколах" и "бесстыдная" "парижская" "макулатура" в романе Александра Грина по своей номенклатуре уже не совпадают: как раз "Мопассан", скорее всего, входит в "паралитературу" конца четырнадцатого "Протокола", отзывающегося обрядовой как реакционно-французской, так и специально-консервативно-русской неприязнью ко всей литературной продукции французского же натурализма (неприязнью, усиленной затем до ненависти из-за позиции Золя в деле Дрейфуса). [27] Тем не менее в обоих случаях —

жанровый знак связи с массовой литературой, от которой Александр Грин исподволь уходил, а "Протоколы" — катастрофически к ней приближались. Среди прочего, именно в технике безудержного плагиата, который, с одной стороны, резонирует названной французской литературной ситуацией, а с другой — всей специфической русской литературной же ситуацией с ее крайней слабостью авторского статуса, в особенности именно на маргиналиях этой ситуации, когда лубочная литература оставалась едва ли не исключительно анонимной, а некто Ногтев еще в середине 1880-х под своим именем опубликовал "Пиковую даму". [28]

ПСМ — двадцатичетырехчастный реакционный "центон" всего, по слову Анатоля Франса, "опиума запада" — и не только Запада. "Протоколы" в тональности той же "апологии плагиата" не слишком "прикровенно" заимствуют наиболее авторитетные тексты русской литературы — того ее массива, который пребывал в состоянии "борьбы с Западом", самой яростной полемики с ним.

В ряду русских литературных подделок прошлого века, вслед за "пастишем Пушкина", чрезвычайно характерное место занимает книга автора, бывшего в детстве любимцем последнего, Павла Вяземского "Письма и записки Оммер де Гелль", писавшаяся, по-видимому, в 1860–80-х гг. и напечатанная уже только в советскую эпоху, в 1933 г.

Князь Павел Петрович Вяземский (1820–1888), сын ближайшего пушкинского друга, длительное время дипломат, а затем после исправной службы в Министерстве иностранных дел весьма ответственный чиновник Министерства дел внутренних, наконец начальник Главного управления по делам печати и сенатор — он представляет собой своего рода эталонную фигуру аристократически-бюрократической элиты империи, в соединении с блестящим археографическим и беллетристическим дилетантством, во многом вобравшим высокую литературную культуру Вяземского-отца.

В 1887 г., незадолго до смерти, Павел Вяземский опубликовал в консервативном "Русском Архиве" П.И.Бартенева статью "Лермонтов и г-жа Гоммер де-Гелль в 1840 году", в

которой содержались несколько писем довольно известной французской путешественницы и писательницы Адель Оммер де Гелль — с упоминанием Лермонтова. Достаточно сенсационный характер этих писем впоследствии обусловил, хотя и с немалым историческим опозданием, упомянутую публикацию "Писем и записок Оммер де Гелль".

В истории русской литературы книга эта рассматривалась преимущественно в "лермонтовоцентрическом" аспекте, как неожиданное и острое свидетельство к биографическим коллизиям русского поэта, оказавшееся затем — псевдосвидетельством.

Довольно внушительная литература, возникшая вокруг этого сюжета —как нейтрально-комментаторская, так и резко критическая, и, наконец, попросту беллетристическая (квазибиографическая "лермонтовская" проза Б.Пильняка, К.Большакова и С.Сергеева-Ценского, основанная на самом наивном доверии к названным "свидетельствам"), заслонила проблему общего характера — самого жанра книги Вяземского-сына, сочинившего уже не журнальный памфлет объема "Последнего свойственника Иоанны д'Арк", а целый роман-"пастиш", направленный уже ***против позднейших фазисов той же французской цивилизации***.

"Письма и записки Оммер де Гелль" Павла Вяземского — это именно памфлет, "разоблачающий" не столько легкомысленную француженку-эгоистку, сколько самое "июльскую монархию", представленную здесь едва ли не в полном историческом составе. "Письма и записки" несколько гиперболически, но со всем знанием исторического дела воссоздают тогдашний политический ландшафт, сам психологический стиль эпохи, отмеченный "бальзаковскими" по своему звучанию коллизиями обогащения, интриганства, безграничного себялюбия и сопутствующей им жестокости. Павел Вяземский, русский консерватор, которого — уже в очевидном его отличии от отца — "либеральным" не назовешь, пытается создать в своей книге именно такой обобщающий исторический пейзаж с антигероиней, воплощающей, по замыслу автора-реакционера, всю "июльскую" шкалу "прогрессивного" западного эгоизма. И подчас у князя Павла, в виду его основа-

тельного знания предмета, это вполне получается — в "Письмах и записках Оммер де Гелль" нередко резонируют самые "реальные" реалии того эгоизма.

Но, вместе с тем, героиня книги Павла Вяземского не имеет со своим якобы прототипом — "реальной" французской писательницей и путешественницей, особой вполне благонравной, — решительно ничего общего. Автор же разоблачает "июльский" сезон французской истории через разоблачение своей устрашающей героини. Точнее — через её "саморазоблачение": по словам современного исследователя, "можно приступать к чтению в поисках "саморазоблачений" — и "саморазоблачения" начинаются... Сочинительница бойко отчитывается перед подругами то об одной, то о другой интимной связи... Все продается — все покупается. Рядом с денежными аферами — немотивированная жестокость... Кошмар наползает на кошмар".[29] Здесь антифранцузский "пастиш" Павла Вяземского в своих нескончаемых "разоблачительских" гротесках не знает удержу, в гротесках чрезвычайно усиленных именно "местоименным" режимом этого разоблачительства. Через подчеркнутое "я" без конца "саморазоблачающейся" героини.

Вслед за Пушкиным, в "Последнем свойственнике Иоанны д'Арк" открывшем структуру "пастиша" в виде искусно подделанного "саморазоблачительного" письма "героя", в которого этот "пастиш" метит, Павел Вяземский (по-видимому, совершенно сознательно) продолжил ту же литературную политику, сочинив уже целый "роман" в таких "письмах" — и примерно в той же исторической направленности, хронологически продолженной: "Последний свойственник" оспаривает французское Просвещение, "Письма и записки" — его "июльский" полдень. Русская полемика-с-Европой ("борьба с Западом") здесь уверенно обретает жанр "поддельного письма", создает жанровую рамку последнего, в которую затем, в упомянутом полемическом азарте, ***можно было вставить — любой "материал", потребный "полемисту"***...

В книге Павла Вяземского Оммер де Гелль постоянно общается и переписывается с графом Нарциссом Ахиллом Сальванди, одним из интеллектуальных столпов июльского

режима, неоднократно бывшим его министром народного просвещения. Героиня замечательно “реферирует” его некую условную книгу о стратегии тогдашней истории: “Монархия, хартия, камеры, избирательные коллегии, администрации, народное просвещение, колониальное управление — все поколеблено в своих основаниях. Толпа призывается не к равенству, а к преобладанию. Хотят попрать права собственности, высшей промышленности, высшей науки, службы, знаменитости, все права на высшее влияние только в минуты лихорадочного состояния для торжества террора, а в минуты отдохновения — диктатуры. Свобода может существовать на земле при условии преобладания класса богатого, просвещенного и утонченного”. Эти слова представляют собой не столько аннотацию той предполагаемой книги, сколько абсолютное резюме, а к концу прошлого века и самое общее место западного и в особенности русского просвещенного консерватизма, — “просвещенного” в том значении, что такой консерватизм способен не только к чисто полицейской, но и к идеологической защите, к интеллектуальной саморефлексии.

Итак, ощущение современного мира, как постоянно содрогающегося в реформистских, а тем более революционных судорогах, — то есть как перманентно-кризисное ощущение всевозрастающего “восстания масс” в своем “лихорадочном состоянии сопровождающемся террором, а в минуты отдохновения — диктатурой”, столь же яростное сколь и обреченное стремление “класса богатого, просвещенного и утонченного” не впустить массы в историю — вот это составляет то самое “общее место”, которое к концу того века станет поистине “общим” достоянием уже не только элитарного, но и “массового” консерватизма.

Аристократическая социальная оптика стремительно смещающегося мира необходимо станет тогда гротескно-демократическим достоянием “бульвара”, “улицы”, “площади”, а столь же аристократический жанр утонченной стилизации в виде “поддельного письма”, в котором якобы предстает подноготная его “адресанта”, упростится и попросту вульгаризуется — в той же “демократической” степени, уже до уровня газетного фельетона.

Книга князя Павла Вяземского, аристократически оставшаяся, в самом широком смысле, в "русском архиве" того уходящего века, метафорически говоря, в одном-единственном экземпляре, с удивительной чуткостью реверберирует те "истины", которые из самого аристократического статуса вскоре перейдут в массово-демократический.

Характерно, что вслед за упомянутым письмом к графу Сальванди, среди прочих, следует письмо героини "г-ну Мишелю Шевалье" — из "Одессы", "12 октября 1838 года", внешне представляющее собой самое простое перечисление основных маршрутов молодого средиземноморского и черноморского пароходного сообщения. Адресат письма появляется весьма кстати — Мишель Шевалье, первый европейский знаток транспортно-железнодорожной экономики, мировоззренчески отдыхал от тогдашнего грюндерства в умеренном фурьеризме, заклиная индивидуалистическую лихорадку осторожными коллективистическими рецептами. Кстати, именно Мишелю Шевалье принадлежит троп, обобщающий фундаменталь-ный дефект середины того века — "культ личности", троп, как известно, имеющий странную судьбу во второй половине века нынешнего.

Эпистолярные фрагменты "Писем и записок Оммер де Гелль" указуют как на отмеченную исследователем полную неспособность автора-дилетанта к "искусству композиции", так и на его удивительную чуткость на "композицию" самого общего пейзажа европейской цивилизации: авторская инициатива, при всей ее очевидной сюжетной беспомощности, все же вращается среди самых ответственных сюжетов европейского эгоизма.

Сама "встреча" Оммер де Гелль с Леромонтовым, при всех нескончаемых псевдобиографических мистификациях — это, в общем, "необходимая" в контексте общего замысла, как бы исторически реальная встреча двух эгоистов, двух вполне подходящих друг другу "героев нашего времени" (разумеется речь идет не о реальном русском поэте, а о герое "романа" "романной" "Оммер де Гелль").

И уж совсем любопытен "фрагмент № 70", представляющий собой персонологически достаточно подробный очерк Наполеоновой фамилии. По остроумному предположению исследователя, фрагмент этот "должен был послужить завязкой перспективного сюжета (героиня могла принять участие в заговоре или таковой разоблачить)".

Но ведь в самой книге уже содержится иная возможная завязка в "бонапартистском" направлении — в виде "романа" героини с русским богачом Анатолем Демидовым, будущим князем Сан-Донато (кстати, героиня, в виду признаний матери, бывшей в связи с Павлом Демидовым, отцом Анатоля, намекает на кровосмесительный характер своей собственной связи, что, разумеется, сообщает характеру героини, скажем так, еще один резкий штрих).

Но дело в том, что ровно через пять лет после того наполеонистического этюда героини, ее "герой" Анатоль Демидов, уже князь Сан-Донато, женился на принцессе Матильде Вюртембергской, племяннице Наполеона, дочери упомянутого в том очерке его "меньшого брата", "Иеронима", бывшего одно время Вестфальским королем, того самого монарха, которого отец Герцена И.А.Яковлев, очевидно в виду тамошних придворных нравов (по словам Оммер де Гелль, "никогда не жили в Касселе так весело, как при Иерониме"), изобретательно назвал — "царём Ерёмой" ("Былое и думы").

Экзотический брак русского сверхбогача, потомка тульского умельца, и блестящей племянницы величайшего из парвеню вызвал, естественно, всеобщий интерес: ему патронировал сам Николай Первый, благожелательно переписывавшийся с Матильдой вплоть до Восточной войны. Когда Анатоль Демидов развелся с женой, то именно Николай настоял на том, чтобы тот дал ей фантастическое "отпускное". Прэтому не исключено, что одним из сюжетных звеньев "Писем и записок Оммер де Гелль" должны были стать матримониальные приключения ее и любовника, и... сводного брата.

Итак, многочисленные упоминания об Анатоле Демидове в книге Павла Вяземского действительно сюжетно-необходимо напоминают о принцессе Матильде. В эпоху Второй империи

она, пользовавшаяся благосклонностью своего кузена, ставшего Наполеоном III ("Наполеоном Вторым", по более точному подсчету Оммер де Гелль) была включена в состав императорской фамилии. Талантливая художница и скульптор, знаточица не только искусства, но и философии, на равных беседовавшая со знаменитым Виктором Кузеном, принцесса Матильда взяла к себе в литературные секретари талантливого же литератора и оратора, ***адвоката Мориса Жоли, который и стал сам того не зная, одним из авторов "Протоколов сионских мудрецов"...***

Принцесса Матильда, патронесса Мориса Жоли, играла некоторую политическую роль при своем кузене, ставшем сначала президентом республики, а затем, после ее крушения, императором — до его женитьбы. Во время Второй империи ее дом был одним из литературных центров Парижа.

Именно здесь Морис Жоли и наблюдал нового Цезаря — и, по-видимому, не с лучшей его стороны, как свидетельствует литературная продукция секретаря принцессы Матильды...

Последняя, погруженная в свои многообразные артистические занятия, была вполне лояльна к своему кузену-императору, в резком отличии от своего родного брата Жозефа-Шарля Поля Бонапарта, предоставлявшего на протяжении десятилетий леволиберальное крыло дома Бонапартов. Яростный республиканец, он уже в 1849 г. в Бордо, по дороге в Испанию, куда был назначен президентом Луи Бонапартом послом, назвал его политику "реакционной" (отчего был немедленно лишен своего поста). В 1865 г. Принц Жозеф был, вследствие еще более резкого конфликта с уже царственным кузеном, снова отрешен от своих должностей: Наполеона III раздражали, как тогда писали, "сенсационные речи" родственника-сенатора — "с либеральной окраской".

Появление книги Жоли и хронологически, и, так сказать, идеологически совершенно совпадают с эскападами брата его высокой патронессы: весьма возможно, что, находясь в окружении принцессы Матильды, он получал антинаполеоновскую информацию и ориентацию именно от принца Жозефа.

Таков весьма своеобразный — не "бонапартистский", а "бонапартовский" фон и контекст памфлета Жоли, времена-

ми сбли-жавший этот памфлет с теми или иными русскими коллизиями.

Тот, кто при написании "Протоколов" весьма бесцеремонно подверг книгу Жоли столь очевидному теперь плагиату, среди прочего был "направлен" к ней именно этими коллизиями — разумеется, наряду с другими.

Принцесса Матильда, появившаяся в России начала 1840-х в качестве княгини Сан-Донато, предстала в сопровождении сенсационной династической легенды, странно сблизившей Романовых с Бонапартами.

А на пороге 1890-х сенсацией стала смерть принца Жозефа, возлагавшего все свои "крайние" политические надежды на Буланже и умершего от отчаяния, вызванного крушением последнего...

Таков "второй план" талантливой подделки Павла Петровича Вяземского, ее вполне угадываемый "звуковой фон", в котором чуткое консервативное ухо автора угадывает всю враждебную ему "акустику" стремительно движущейся в некое гадательное будущее западной цивилизации, угадывает нисколько не стесняясь, вместе с тем, в искажении этой "акустики"...

Вскоре после публикации "Писем и записок Оммер де Гелль" (1933) в тогдашнем советском литературоведении появляются работы, очень квалифицированно и в самом резком тоне разоблачающие мистификацию Павла Вяземского.

В мае 1934 г., незадолго до своей смерти, весьма опытный пушкинист Н.О.Лернер сделал доклад в Пушкинском доме об авторстве П.П.Вяземского.

Вслед за тем ученый самого широкого кругозора, философ и филолог П.С.Попов написал обстоятельную статью, посвященную проблеме этого авторства под названием "Мистификация".

Обе работы — особенно статья П.С.Попова — отмечены как бы избыточным разоблачительским азартом, неким мучительно подчеркнутым демистификаторским пафосом. Авторы, принадлежащие, при всей разнице их возрастов, досоветской эпохе и одновременно уже беспросветно зависимые от жесточайшей идеологической цензуры и самой догмы, в

полную силу воспользовались историко-литературным раритетом и яростно обрушились на "подделку" — наверное в виду множества других, но уже жестко табуированных — защищенных системой.

Н.О.Лернер еще до революции резко выступил против литературной политики Л.Н.Павлищева, так как пушкинский племянник издал псевдомемуарную книгу, по словам исследователя, наполненную тенденциозною ложью и даже не остановился перед фальсификацией документов и позволил себе извратить много писем переделками и собственными вставками.

Вместе с тем исследователь едва ли не восторженно отозвался о пушкинской стилизации "Последний из свойственников Иоанны д'Арк", пытаясь представить ее как стремление поэта под маской поделиться с читателями своими заветными мыслями: Вольтер, дескать, у него отрекается от "Девственницы", как он сам когда-то пробовал отречься от "Гавриилиады".

Мистификация же Вяземского-сына вызывает уже полное неприятие у исследователя — в виду ее очевидной агрессивности.

Еще более последователен в таком своем неприятии П.С.Попов, отчасти сбрасывающий свое раздражение и на советских беллетристов, поверивших псевдописьмам и псевдозапискам (Б.Пильняк, К.Большаков, С.Сергеев-Ценский и другие).

При этом он не замечает некого странного сходства своей "оппозиции" по отношению к мистификации Вяземского, и вообще к самой стихии "подделок", бытующей в современной ему истории — и внешне легковесной прозой писателей, которые в самых драматических условиях 1929-го года, воспользовались "сведениями" Оммер де Гелль для создания наскоро беллетризованной картины истории, ***безжалостно поглотившей индивидуальную человеческую жизнь*** (вообще-то доминантный сюжет едва ли не всего их предшествующего творчества).

Словом, и Н.О.Лернер, в своем предсмертном докладе, и П.С.Попов в своей статье опровергают сам принцип мистификации, открывающий ворота лжи и в текст, и в сам мир за его пределами.

Маленький сеанс с разоблачениями, устроенный в то время двумя советскими литераторами, совершенно синхронен — и типологически как-то схож — с тремя заседаниями суда в Берне (ноябрь 1933 г. — май 1935 г.), на которых оспаривалась подлинность "Протоколов сионских мудрецов" — и примерно в системе тех же, чисто филологических и специально историко-литературных доказательств...

Но в обоих случаях вполне убедительное "разоблачение" уже не могло остановить известных следствий.

Позднейший, уже вполне осведомленный и необходимо скептический издатель "Писем и записок Оммер де Гелль" А.Немзер в своем весьма дельном к ним вступлении цитирует раздраженные слова П.С.Попова — об издателе "Русского архива": "Все исторические анекдоты не без вранья. Такова всякая анекдотическая история, культивировавшаяся Бартеневым" и затем прибавляет: "Пишет это о замечательном ученом, подвижнике исторических разысканий, создателе "Русского архива" — журнала, без которого никогда не сможет обойтись ни один серьезный историк русской литературы, общественной мысли, политической жизни, — пишет это о Петре Ивановиче Бартеневе вовсе не "исторический нигилист", разрушитель, вульгарный социолог или "космополит".

Но вот что пишет в своих воспоминаниях об издателе замечательного журнала один "исторический нигилист", — впрочем, несмотря на свой "троцкизм" достаточно умеренный, — известный большевик-литератор А.К.Воронский, в молодости мимоходом общавшийся с П.И.Бартеневым — в качестве "агента, распространяющего книги", — кстати, вполне "благонамеренные": "Бартенев принял меня, сидя за большим письменным столом в глубоком кресле, сгорбившись и откинувшись к спинке...

— Прошу, сударь, сесть. Чем могу служить?

Я показал ему образцы. Перелистав "Историю Москвы", он промолвил:

— Репродукции хороши, но позвольте узнать, какие сочинители участвуют в ваших изданиях?

Я назвал Рожкова, Кизеветтера, Никольского. Бартенев поспешно отодвинул от себя книги, взял костыль. На его старческом изможденном лице сеть морщин стала глубже и резче.

— Жиды, сударь, жиды! Не могу подписаться, не буду. Не надо мне жидовских книг.

Я заметил, что названные мной историки — не жиды, евреи же — культурнейшая нация.

Старик поднял ладонь и, как бы отгораживаясь от меня, с силой перебил:

— Жиды-с! О культуре же расскажу вам, молодой человек, поучительную историю. Подобно вам одна дама наслушалась речей о культуре. Куда не придет, сейчас: культура, культура. Ее и спросили однажды, что такое культура. "Это — ответила дама, — зверок такой, на крысу похож." Культуру-то культурнейшая дама с крысой смешала.

Обескураженный, я сказал Бартеневу:

— У меня есть отзывы газет и журналов о книгах, которые я вам предлагаю. Они все похвальные.

Бартенев заерзал на кресле, наклонился ко мне, сжал еще крепче рукою костыль.

— Все ваши газеты жидовские.

Забыв о цели своего прихода, я промолвил:

— Есть разные газеты. По всей вероятности, вы не считаете жидовскими такие газеты, как "Новое время" или "Русское знамя".

Старик нимало не смутился.

— И "Новое время", и ваше "Русское знамя" тоже жидовские газеты. Не жидовских газет, государь мой, нет и не может быть. От газет пошли на Руси все беды: смута, бунты. Разврат, безобразие, хамство — все от газет ваших. В старину газет не было — жилось лучше. Я газет не читаю и вам заказываю: не оскверняйте рук ваших погаными листками, — дьявольское в них наваждение. Не губите себя, послушайтесь старика".[30]

При всей неожиданности таких характеристик "Нового времени" и "Русского знамени" — как бы "центральных органов" исследуемой здесь проблемы, — необходимо признать, сколь

удивительна воспроизведенная здесь А.К.Воронским встреча двух носителей совершенно разных мифов. Мифы Воронского сегодня еще на слуху — П.И.Бартенев же, по воспоминаниям его кратковременного сотрудника Брюсова, помнивший последних екатерининских вельмож, пребывает в куда более раннем периоде мифа девятнадцатого века. По поручению московских славянофилов Бартенев ездил в Прагу к Вацлаву Ганке, гроссмейстеру романтической литературной подделки, создателю славянского "Оссиана" — "Краледворской рукописи" и "Зеленогорской рукописи". "Найденные" в 1817–18 гг., они совершенно заворожили славянский зрачок, и их подложность была доказана в хронологическом режиме некоей мифологической "периодичности" лишь в те десятилетия, когда уже создавались "Протоколы сионских мудрецов".

В режиме той же периодичности П.И.Бартенев в 1868 г. опубликовал, как указывает С.Дудаков, в приложении к книге Ю.Ф.Самарина "Иезуиты и их отношение к России" так называемый "Польский катехизис", якобы найденный на теле убитого повстанца, один из "протографов" "Протоколов".[31]

Но П.И.Бартенев, — впрочем как и его сын-писатель и историк — именно реликтовые явления предшествующего русского литературного процесса.

Но вот явление, в известном смысле завершающее этот процесс — в его предреволюционном объеме. Да ещё в самом яростном леворадикальном, близком к анархизму режиме: Александр Блок.

Блоковское творчество с самого своего начала и далее представляет собой восприятие современной цивилизации исключительно в эсхатологическом режиме. Всю сумму этой цивилизации — примерно от французской революции и столь эмблематичной для поэта смерти Фридриха Шиллера — блоковский зрачок реципиирует сначала как кризис, а затем и вовсе как "крушение гуманизма" ("гуманизм" у Блока, собственно, специфический псевдоним-троп всей той суммы): настроения, окончательно завладевшие художником в пору "Двенадцати", "Скифов" и соответствующей культурологической публицистики (прежде всего, статья-доклад "Крушение гуманизма", март-апрель 1919 г.)

Нисколько не претендуя на освещение хотя бы некоторых чисто литературных, художественно-эстетических аспектов блоковской "частной" мифологии закатывающейся западно-буржуазной цивилизации, обратим внимание лишь на отчетливо именно леворадикальное оформление той мифологии, вполне пересекающейся со всеми стратегическими направлениями европейского же социалистического и анархического неприятия едва ли не всех основоположений Нового времени, закрепленных его великими "буржуазными" революциями. Александр Блок пребывает именно при их леворадикальной альтернативе, при самом безграничном пафосе совершенно новой, — весьма гадательной, подчеркнуто утопической — модели будущего мироустройства, яростно отрицающей мироустройство нынешнее.

Но, возможно, в этом и заключается мировоззренческий парадокс леворадикальной полемики с либеральной современностью, что полемика эта исподволь, совершенно необходимо входит в ситуацию некоей симметрии со множеством сюжетов и направлений — ***праворадикального*** неприятия всего наследия, широко говоря, "гуманизма" и "французской революции".

Поздний П.Б.Струве, как уже говорилось, истоки марксизма, наряду с теми, которые обрядово подчеркивались его основателем и его продолжателями, отнюдь не гиперболизируя, возводил к Жозефу де Местру. Первому и чрезвычайно глубокому критику указанной революции. Действительно, в глубинах своей порождающей "морфологии" критика "слева" и "справа" той революции входит во внешне неожиданный, но весьма выразительный консонанс обеих ее исторических составных.

Блок, в одной своей дневниковой заметке 1919-го года эпически уравнивающей неприемлемую для него фигуру "рабовладельца Ленина", воплощавшей ненавистный для поэта псевдореволюционный государственно-бюрократический контроль над подлинно революционными стихиями, и фигуру союзного Струве "рабовладельца Милюкова", — представляет собой по-своему уникальный в этом веке феномен

самого драматического взаимопересечения и взаимопротекания “леворадикального” и “праворадикального”.

“Двенадцать” — это во многом сопряжение леворевоюционного отрицания “старого мира” с его давнишней христианско-социалистической критикой типа Ламенне, который, собственно, и положил идеологическое начало, в духе некоего праворадикального католицизма, названному отрицанию.

Столь же трагически-оригинально в “Скифах” встречается социалистическо-интернационалистический порыв того времени, который, спустя некоторое время, — немногим более года после появления того стихотворения, — окончательно предстанет в “коминтерновских” формах — со всей отечественной суммой националистическо-славянофильской критики Запада, от передевра-зийской историософии Михаила Леонтьевича Магницкого и “Клеветникам России” Пушкина (начало 1830-х) и далее, через гоголевские “Выбранные места из переписки с друзьями” до “выбранных мест” из публи-цистики, скажем, Василия Розанова или беллетристики Пимена Карпова.

Явление Александра Блока совершенно загадочно, если не принимать во внимание именно той постоянно совершающейся в нем — самой напряженной — синкризы крайне “левого” и крайне “правого” (разумеется, представленных в том явлении сугубо мировоззренчески, в крайне демонстративном отчуждении от реальной политики или, по крайней мере, пребывающих в ее “окрестностях”).

Оставляя эту сложнейшую проблему для специальных исследований, в то же время обратим лишь внимание на ту специфику блоковского творчества, которая временами едва ли не зловеще сближает рафинированнейшую критику в нем западного кризиса с критикой последнего уже не только разгромной, но и погромной...

Эти “странные сближения” объясняют не столько Блока — и вообще верхние этажи оппозиционной либерализму “левой” и “правой” культуры того времени, — сколько то обстоятельство, что ее примитивное подполье (скажем, ПСМ) весьма элементарно, но и весьма точно резонирует и рефлексирует на те или иные постулаты на тех “этажах” содержащиеся.

Поэма “Возмездие” в своем основном замысле — это лирически превращенная автобиография и соответственно превращенная же биография Блока-отца, известного ученого-правоведа, по своим взглядам, скажем так, радикального консерватора, особенно в последние, совсем уж эксцентрические периоды его причудливой жизни.

Парадокс поэмы заключается в том, что изображение всеевропейского, пока еще скрыто развертывающегося кризиса, перемежаясь с картиной “личного” отцовского кризиса, во многом совпадает с последовательным неприятием “деградирующего” либерального Запада, пронизывающим и научное творчество, и саму личность Блока-старшего, а то и другое смещается в сторону именно странного сходства с “Протоколами”.

Век буржуазного богатства
(Растущего ***незримо*** зла!).
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели ***темные дела***.[32]

Эти строчки из “Возмездия” уже даже по самой своей лексике совпадают с антибуржуазной “конспирологией” ПСМ, лингвистически сосредоточенной прежде всего вокруг эпитетов “незримый” и “темный”.

Далее Блок, в режиме уже совсем удивительного сходства с ПСМ, предельно заостряет свои “конспирологические образы”, представляет лирический и самый зловещий ландшафт соответствующих “таинственных” средств и целей:

...Тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран, –
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман:
Там, в сером и гнилом тумане,
Увяла плоть и дух погас,
И ангел сам священной брани,
Казалось, отлетел от нас.

Во многом эта пессимистическая панорама “века девятнадцатого, железного” восходит к самому общему топосу его консервативно-радикальной критики, в системе которой некоторое место принадлежит Блоку-отцу, явно усиливавшему самим своим присутствием в сознании поэта-сына его лирическую полемику с современной цивилизацией.

Очень любопытно сходятся в поэме мотивы и той полемики, и наконец, соответствующие биографические гротески ее носителей.

> Так, с жизнью счет сводя печальный,
> Прозревши молодости пыл,
> Сей Фауст, когда-то радикальный,
> “Правел”, слабел... И *все* забыл;
> Ведь жизнь уже не жгла — чадила,
> И однозвучны стали в ней
> Слова: “свобода” и “еврей”.

Объективная ирония этих строк заключается в том, что их автор до известной степени разделял такое отождествление: современное еврейство, по Блоку, безраздельно ассистирует либерализму, сливаясь тем самым с общим мрачным колоритом “страшного мира”. Перед нами не “инстинктивный”, не “конфессиональный” антисемитизм, не психологическая его разновидность, — а тем более не раздраженное отношение западного “туземного” буржуа к пришельцу-конкуренту. Блоковский “антисемитизм”, пробивающийся во множестве биографических коллизий и соответствующих мемуарных свидетельств о поэте — это именно “левый” антисемитизм, некогда отождествивший в представлении Карла Маркса или другого революционера 1848-го года, Вильгельма Марра (кстати, именно ему принадлежит сам термин “антисемитизм”), еврейство с капитализмом и всем стоящим за ним миром. Таков характер и бакунинского антисемитизма (напомним, кстати, что стремительное нарастание леворадикального экстремизма у Блока начинается именно с его “юбилейной” статьи “Михаил Александрович Бакунин (1814–1876)”, июль 1906 г.).

Леворадикальное неприятие еврейства и вызвало некоторые эксцессы антисемитского свойства в биографии поэта, либо чрезмерно смущающие ее комментаторов, либо, увы, искусственно ими замалчиваемые. Гораздо драматичней то обстоятельство, что этот сюжет "леворадикального" Блока, наряду с другими, необходимо врастал в самые крайние формы реакционных настроений — в тогдашней "точке схода" "левого" и "правого" в их яростном отрицании якобы торжествующего современного либерализма.

("Сокращенное", но чрезвычайно содержательное изложение проблемы "Блок и евреи" см. в книге воспоминаний: А.Штейнберг. Друзья моих ранних лет (1911–1928). Подготовка текста, послесловие и примечания Ж.Нива. Париж. "Синтаксис". 1991, с. 38–42.

Проблема эта обсуждалась мемуаристом — в тюрьме петроградской "чрезвычайки", где находился некоторое время и арестованный Александр Блок...

Что, похоже, и требовалось доказать дичающей истории-XX...)

Но, похоже, в конце XIX века великая литература не только мировоззренчески, но и жанрово стремительно смещается в сторону, оказавшуюся благоприятной для совсем другой словесности.

А.М.Скабичевский, критик 1880–90-х , которого последующая традиция превратила едва ли не в эмблематическое воплощение крайней литературной "партийности" (категория, которая даже лингвистически-этимологически восходит к базовому словарю критика), вместе с тем едва ли не первым обратил внимание на стремительное возрастание в тогдашнем русском литературном процессе жанров, обладающих наиболее высоким потенциалом смыслового обобщения. В связи с появлением короленковских рассказов "Сон Макара", "Тень" и др. он отметил в этом процессе "стремление выбиться из оков натурализма и облечь в живые образы те философские и моральные идеи, которые бродят в умах общества, не находя соответствующих форм в мелких фактах будничной жизни", "стремление", которым и "объясняются в нашей литературе... все те сказки, легенды, аллегории, какие ныне так

часто являются в нашей литературе... нельзя не видеть в них первых ростков молодой зелени, идущей на смену старой и увядшей".[33]

Проходит всего несколько лет после этого выступления Скабичевского — и Чехов, предмет его едва ли не постоянной "партийной" антипатии, грандиозно-пародийно обобщает в "Чайке" — в "пьесе" Константина Треплева — это специфическое стремление того времени к "сказке, легенде, аллегории" (впрочем, даже самая чеховская пьеса не избежала упреков в "символизме", "ибсенизме" и другом "декадентстве", под которым подразумевалось, соответственно, замеченное Скабичевским "стремление выбиться из оков натурализма" — в сторону указанных притчевых форм). [34]

Итак, 1890-е в русской литературе во многом проходят под знаком очевидного возрастания этих форм, появившихся в ней, впрочем, еще в пору Гаршина и Толстого-яснополянского педагога.

Скабичевский с его, по слову Плеханова, "мелкомещанским демократизмом" заметил то возрастание на леворадикальном и либеральном флангах литературного процесса, но оно необходимо захватило и правое его крыло. Ю.Николаев (Говоруха-Отрок) в "ретроградном " "Русском обозрении", едва ли не одновременно с названным выступлением Скабичевского по поводу короленковских рассказов, отметил в них как бы "бессознательное христианство" и даже пригласил автора в сотрудники того издания ("призыв к сослужению соборне с гг. Тихомировым и Ю.Николаевым", — по иронической реплике самого Короленко)[35].

Очень характерно, что примерно в то время, когда Чехов изображает "пьесу"-"аллегорию", сочиненную его героем, "киевским мещанином", будущий издатель ПСМ на основании своего предшествующего, также "киевского" астрологического опыта ("Киевская комета 1882-го года", как сказано в его книге), задумывается, в связи со смертью Александра III, об эсхатологическом значении этой "кометы". Последующая публикация С.А.Нилусом "Протоколов" представляется чисто издательским звеном этих рефлексий, также облеченных в

разные "сказки, легенды и аллегории", составляющих едва ли не преобладающую часть нилусовского литературного наследия[36].

С другой стороны русского литературного процесса по самым разным — и внелитературным, и специально жанровым причинам — нарастает оппозиция явному художественному вымыслу реалистического типа. Лев Толстой, все более склоняющийся к "сказке, легенде и аллегории", — собственно к притче — в июле 1893 г. делает весьма характерное признание в письме Н.С.Лескову: "Начал было продолжать одну художественную вещь, но поверите ли, совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли это художественная изжила, повести отживают, или я отживаю? Испытываете ли Вы что-нибудь подобное?"[37]

Такая проблематизация "реалистического" художественного вымысла, нависшая над тогдашним литературным процессом, в своеобразном сочетании с его указанной склонностью к "сказке, легенде и аллегории", могла дать самый неожиданный результат в виде полупритчевого-полудокументального представления "людей, которых не было и которые ничего этого не делали" — представление со стороны авторов, которым в отличие от Толстого, не особенно "совестно" было писать о таких фантомных людях и положениях...

Не случайно то, что адресатом указанного толстовского пассажа является Н.С.Лесков, в творчестве которого с начала еще 1870-х годов нарастает притчевость в сочетании с подчеркнутой документальностью. "Лесков — не изображатель, а счастливый собиратель анекдотов" (А.И.Белецкий)[38]. Анекдотов, возникших на основе некоего весьма реального события, в режиме именно притчевого преобразования этого события. Исследуя структуру "Несмертельного Голована", тот же автор утверждает: "Как всегда у Лескова — история Голована "не легенда, а правда", и нам нет оснований сомневаться в реальной подоплеке мотива, закрепленного жизнью в документах". [39]

В сущности, Толстой, к концу века "совестящийся" писать про "людей, которых не было", и Лесков еще ранее того

весьма склонный к указанному "мотиву", "закрепленному в документах", завершают тот век русской литературы в направлении, заданном ей прозой Пушкина. "Начиная с "Выстрела", Пушкин держится в "Повестях Белкина" манеры повествования, которую можно бы назвать документальной". (Н.Я.Берковский).[40] По словам же Г.А.Гуковского, это свойство пушкинской прозы делает ее "протокольной" и "научной". [41]

При этом другой исследователь "документальности повествования у Н.С.Лескова, возводя таковое именно к Пушкину, и ссылаясь на указанные наблюдения названных авторов, замечает, что "документальное повествование... это такое повествование, которое предполагает ссылку на источник"[42].

А если "документальное повествование" называет — совершенно сомнительный "источник"?!

Русская литература–XIX в своей, по выражению Тынянова, "катастрофической" динамике вообще развертывает оппозицию "документ" — "художественный образ" в самых разных, подчас даже причудливых сочетаниях.

Карамзин оставляет собственно литературу и создает первый национальный историографический свод.

Пушкин под конец жизни едва ли не одновременно создает роман и документированную его основу ("Капитанская дочка" — "История Пугачева").

Историки литературы до сих пор спорят, по какому ведомству проходит военно-мемуарная проза Дениса Давыдова, и "художественная", и "документальная".

Лермонтовский "Герой нашего времени" виртуозно имитирует "частный" документ, "подлинную" индивидуально-дневниковую прозу.

"Война и мир" предстает как художественное "пресуществление" целых монбланов историографического и мемуарного материала. И вот в начале 1880-х в России начинается своего рода интеллектуальный бум вокруг документальной, статистической и другой "протокольной" литературы, в сущности закончившийся только в конце 1920 – начале 1930-х, с концом самой русской интеллигенции.

В той “притчевой” тональности и появляется радикально-юдофильская притча Короленко “Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды” (1886). Но вполне можно было спрогнозировать появление жанрово подобного текста, но совсем другой мировоззренческой направленности. “Зимний день (Пейзаж и жанр)” Н.С.Лескова, рассказ, по словам Е.Б.Тагера, откликнувшийся, среди прочего, “на разгул жандармских провокаций”, с одной стороны, вполне предсказывает само появление “жанра” такого рода и уж совсем проницательно рисует едва ли не “документальный” портрет энтузиастки того “жанра” — Ю.Д.Глинки — “Олимпии” (в сущности совсем по рецепту того толстовского письма к автору, письма, уклоняющегося от изображения людей, “никогда не существовавших”).

И все-таки есть некоторые “французские” следы в появлении ПСМ, при всех массивных знаках их “чисто” русского происхождения, пусть и во французском языковом — первоначальном — исполнении.

Если написанные по-французски и предназначенные для публикации во французской прессе ПСМ там не появились и вслед затем были экспортированы в Россию, на “историческую родину” их автора, то все же отчего они не были — напечатаны — во Франции 1890-х?

Возможно, виной тому был один инцидент, по-разному поразивший страну и “справа” и “слева” в 1897 г., когда известный публицист Лео Таксиль (настоящее имя Габриэль Антуан Лажес; 1854–1907), — ранее яростный антиклерикал, в 1884 г. внезапно вернувшийся в лоно католической церкви и в последующие годы сочинивший целую серию антимасонских трактатов, немедленно взятых на вооружение клерикальной партией (“Дьявол в XIX столетии” и т.д.), — публично столь же неожиданно заявил, что его обращение было мнимым, а его соответствующие “труды” — полной мистификацией.

Этот прогремевший на весь мир инцидент вполне мог определить издательскую судьбу “протоколов”, созданных, по-видимому, незадолго до того. Дерзкая интеллектуальная авантюра антиклерикального публициста, сначала ужасавше-

го доверчивого читателя кознями “дьявола в XIX столетии”, а затем на самом исходе того столетия вдруг объявившего все те козни своими литературными фантазиями, необходимо создали во Франции атмосферу, в которой ПСМ никак не могли появиться без риска объявления их новой литературной провокацией таксилевского типа...

Камергер Ф.П.Степанов в югославской эмиграции вспоминал, что он познакомился с рукописным экземпляром “Протоколов сионских мудрецов” в 1895 г., каковые и были вскоре напечатаны — сначала на гектографе, а затем и типографским способом — в Туле в 1897 г. (см. ниже). По своей хронологии это первое печатное появление “Протоколов” в России удивительно совпадает с указанным “саморазоблачением” Лео Таксиля, сделавшим их появление во Франции в ту пору совершенно невозможным.

Есть также удивительное литературное свидетельство, инстинктивно-гениально сближающее ПСМ при самом их появлении на русском читательском горизонте и безудержную личную мифологию французского автора-мистификатора — сближающее в самой сатирической тональности.

В романе Андрея Белого “Петербург” (1913), собравшем весь эсхатологический спектр того времени, на устрашающем “детском вечере” у Цукатовых, появляется “редактор консервативной газеты из либеральных поповичей”[43] — по слову комментатора “подразумевается, видимо, Алексей Сергеевич Суворин”.[44] Здесь издатель “Нового времени”, впервые познакомившего читателя века сего с содержанием “Протоколов сионских мудрецов”, — немедленно начинает знакомить с ними и хозяйку Любовь Алексеевну — вперемешку с некоторыми антимасонскими постулатами Таксиля, кстати, и после его “саморазоблачения”, в режиме некоей мифологической инерции, продолжавшими тревожить читательское, а в случае названного персонажа “Петербурга” — и редакторское воображение:

“И едва Любовь Алексеевна задала ему какой-то невинный вопрос, как толстенный редактор и этот вопрос повернул в вопрос большого значения:

— “Не говорите — нет-с! Да, ведь, они мыслят потому, что все они идиоты. Я берусь это с точностью доказать”.

— “Но ведь, муж мой, Коко...”

— “Это все жидовско-масонские плутни, сударыня: организация, централизация...”

— “Между ними все же есть светские очень милые люди и при том — люди нашего общества,” — вставила робко хозяйка.

— “Да, но общество наше не знает, в чем сила крамолы”.

— “А по вашему?”

— “Сила крамолы — в Чарльстоуне...”

— “Почему же в Чарльстоуне?”

— “Потому что там проживает глава всей крамолы”.

— “Кто же этот глава?”

— “Антипапа...” — рявкнул редактор.

— “То есть, как — антипапа?”

— “Э, да, видно, вы ничего не читали.”

— “Ах, как все это интересно: расскажите, пожалуйста.”

Так разахалась Любовь Алексеевна, приглашая рябого редактора погрузиться в мягкое кресло; и он сказал, погружаясь:

“Да-с, да-с, господа!”[45]

Здесь редактор жанрово совершенно корректно сопоставляет “Протоколы” и “Дьявола в XIX столетии”, начиная в терминах самого Белого, с “генерал-баса” первых (“организация, централизация...”) и продолжая уже, вслед за Таксилем, выявлять мировую масонскую интригу с предполагаемым центром в “Чарльстоуне” (США).[46]

Затем на “детском празднике” появляется некий “либеральный профессор” — “живой портрет Струве”, по признанию самого автора:

“Голос редактора остановил его на пороге:

“Понимаете теперь, сударыня, связь между японской войною, жидами, угрожающим нам монгольским нашествием и крамолой? Жидовские выходки и выступление в Китае Больших Кулаков имеют меж собой теснейшую и явную связь”.

— “Поняла, теперь поняла!”

Это крикнула Любовь Алексеевна. ...профессор в испуге остановился... ...редактор консервативной газеты, тот самый

редактор, который только что бросил, выражаясь гуманно, в двадцатипятилетнюю светлую деятельность собирателя статистических данных комок неприличнейшей грязи".[47]

В этом "комке" собраны наряду с самой общей "историософией" "Протоколов", комментарии к ней и М.О.Меньшикова, и С.А.Нилуса, в разное время и по-разному, но связавших ее с "панмонголизмом" и "выступлением в Китае Больших Кулаков".

Далее идеологический конфликт между "либеральным профессором" и "редактором консервативной газеты" развертывается именно в направлении связи между "Протоколами" и мистификациями Таксиля:

"А толстяк продолжал:

— "Понимаете же, сударыня, эту деятельность жидо-масонства?"

— "Поняла, теперь поняла."

Либерально мычавший и жевавший губами профессор не выдержал; обращаясь к хозяйке, заметил он:

— "Позвольте и мне, сударыня, вставить свое скромное слово — слово науки: сообщенные здесь сведения имеют совершенно ясный источник происхождения".

Но толстяк вдруг его перебил".[48]

Обиженный отказом Аполлона Аполлоновича Аблеухова от переговоров, профессор собирается "покинуть этот блещущий дом":

"Собираясь уйти, подошел он к хозяйке, над которой редактор продолжал упражнять свое красноречие.

— "Вы думаете, что гибель России подготовляется нам в уповании социального равенства. Как бы не так. Как бы не так? Нас хотят просто-напросто принести в жертву диаволу".

— "То есть как?" — удивилась хозяйка.

— "Очень просто-с: вы удивляетесь потому, что вы ничего не читали по этому вопросу..."

— "Но позвольте, позвольте! — снова вставил слово профессор, — вы опираетесь на измышления Таксиля..."

— "Таксиля?" — перебила хозяйка, вдруг достала маленький изящный блокнот и стала записывать:

— “Таксиля, говорите вы?..”

— “Нас готовятся принести в жертву сатане, потому что высшие ступени жидо-масонства исповедуют определенный культ, палладиум... Этот культ...”

— “Таксиль взвел на масонов совершенную небылицу, — раздавался язвительный голос профессора, — к сожалению, небылице той поверили многие; но впоследствии Таксиль решительным образом отказался от небылицы; он признался публично в том, что его сенсационные публичные заявления папе — лишь простое его издевательство над темнотой и злой волей Ватикана. Но за это Таксиль был проклят в папской Энциклике”.[49]

И уж совсем поразительно немедленное вслед за тем появление на этом “детском празднике” некоего “суетливенького, мол-чаливенького господинчика, с огромною бородавкою у носа”[50] — появление его из некоего таинственного “департамента”: та “бородавка”, в режиме совершенной памфлетной портретности в эпизоде, сталкивающего П.Б.Струве и А.С.Суворина, прямо указует на А.В.Герасимова, тогдашнего начальника петербургской охранки...

Наконец, проблема возможных русско-французских отношений — в самом названии ПСМ.

В русском языковом обиходе последних двух столетий топоним “Сион” имел самое широкое хождение — в отличие от французского языка. Можно вспомнить гимн “Коль славен наш Господь в Сионе” — сочиненный на исходе XVIII века масоном Михаилом Херасковым (кстати, одним из идеологических родоначальников “полемики с Западом” — его замечательный роман “Полидор, сын Кадма и Гармонии”, 1794, сочиненный для масонских же ритуаль-ных целей). Впоследствии он получил широчайшее распро-странение в России XIX века (не случайно его слышит в бреду лирический герой поэта Случевского), и прежде всего в исполнении военных хоров и оркестров (характерным образом он исполняется как русский гимн и во власовской армии)[51].

Можно вспомнить также, что “историю русской реакционной журналистики”, наряду с “Русским вестником”

С.Н.Глинки, открывают "масонские" журналы — "Друг юношества" Невзорова и "***Сионский*** вестник" Лабзина"... (А.И.Комаров).[52]

Во французском же языке прошлого века — до появления соответствующего политического термина — лексема "Сион" достаточно экзотична, если вообще не "аутсайдерская".

Именно в таком ее значении употребляет Рембо с его поразительным языковым слухом, характерно помещая в ультрареволюционном стихотворении "Руки Жанны-Мари" слово "Сион" сразу вслед за каким-то фантастическим — "Khenghavar":

Oh! Quel Rмve les a saisies
Dans les pandiculations?
Un rмve inouï des Asies,
Des Khenghavars ou des Sions?[53]

"Khenghavars — такого названия нет на географических картах; возможно, имеется в виду Кенгавер, город в Иране, — замечает советский комментатор, необходимо умалчивая о "Сионе"[54].

То, что (если вспомнить тыняновское выражение) в "тесноте стихового ряда" Рембо слово "Сион" помещено рядом — да еще в условном множественном числе — с совершенно условным же, фантастическим топонимом, свидетельствует именно об известной экзотичности этого слова во французском языковом быту той эпохи, слова, явно бывшего в нем раритетом.

Таким образом, по своему эпитету "сионские мудрецы" — лингвистическое производное от "коренного" русского словоупотребления, где соответствующая лексема была в нем едва ли не обычной — на протяжении более чем столетия.

В названии ПСМ имеет место еще одна лексема, ещё более убедительно указующая на их несомненно русское происхождение.

"Классицизм", неоднократно раздражающий автора (см. прежде всего "Протокол № 1-й"; с.61) — возможное автобиографическое эхо повсеместного в России 1870–80-х раздраже-

ния чрезвычайным засильем того “классицизма” в тогдашней гимназии, засилья, подчас действительно принимавшего уже совершенно гротескные формы.

Разумеется, семь ***греческих мудрецов*** прочно входили в наиболее хрестоматийный состав гимназического “классицизма” и соответствующего сознания, образуя там некую образно-риторическую константу, постоянно присутствующий в том сознании топос.

Вслед за тем, на самом исходе 1870-х, то есть примерно уже в пору студенчества гипотетического автора “Протоколов”, в достаточно широкий русский читательский обиход входят и семь “***римских мудрецов***”. Собственно, речь идет об “Истории семи мудрецов” — повести, некогда возникшей в Индии, переведенной вслед за тем на все ведущие языки европейского Средневековья, а в начале 17 в. — и на русский (с польского). По своей сюжетной структуре эта “История” состоит из пятнадцати новелл, объединенных вокруг судьбы несправедливо обвиненного римского царевича Диоклетиана, спасаемого посредством тех рассказов наставниками, семью “***римскими мудрецами***”.

Так в чьем-то авторском сознании “греческие” и “римские” “мудрецы”, достаточно известные персонажи тогдашнего русского литературного быта, возможно и преломились — в “сионских мудрецов”.

Кроме того, в первой половине прошлого века эпитет “сионский” из области ортодоксально-конфессионального его употребления исподволь переходит в сферу сектантскую, что, несомненно, сообщает ему в массовом восприятии необходимый в этом случае оттенок несколько зловещей экзотичности, значительности и таинственности. Современник, писатель Телешов, вспоминает о московской сектантской субкультуре 1880-х — прежде всего, о секте скопцов, занимавшей особое место “в самой гуще московского торгового мира” и сочетавшей сомнительные торговые операции с той экзотикой: “Эти барыши были могучим средством пропаганды мистических стремлений представителей изуверской секты. Помнится, когда в юности я жил в Замоскворечье, там были целые группы

домов, принадлежавших этим сектантам, с большими садами и накрепко запертыми воротами, которые охраняли сторожа, такие же безбородые и мертвеннолицые, как и их хозяева... Что творилось там, за этими воротами, никто в сущности не ведал, но слухи были определенные. Как члены секты мистически настроенной, они брали клятву с тех, кто попадал на “раденья”, что никому и никогда они не скажут о том, что здесь они видели...

Скопческие “радения” происходили в недосягаемых помещениях — в так называемой “***сионской*** горнице”.[56]

Столь же экзотичной, сколь же и вызывающей “определенные слухи” была другая русская секта прошлого века — “иеговистов”-”ильинцев” или “***Сионская*** весть”, приносившая много хлопот властям и официальной церкви.

Итак, эпитет “сионские” в названии “Протоколов” очевидным образом резонирует как “общеевропейским” неологизмом “сионистский”, возникавшим в конце века и входившим в русский язык с некоторым трудом, так и, возможно, в гораздо большей степени, и семантически, и фонетически, на некоторые специфически русские значения русского же традиционного прилагательного — “сионский”.

Вслед за тем вспомним, что русская политическая история на всем протяжении “некалендарного” XVIII века, — начинающегося в августе 1689 г. с бегства отрока царя Петра из Преображенского в Троице-Сергиев, в виду планов царевны Софьи отрешить его от власти, до мартовского убийства 1801 г. Павла I — представляет собой прежде всего нескончаемую серию “дворцовых ***заговоров***”, очень пестрых по своему персональному составу и династическо-персональным же целям, но вполне неизменных по своим либо успешным, либо безуспешным следствиям в виде либо удачной, либо провалившейся дворцовой “революции”. Тогдашняя русская история политически всецело определяется именно “заговорной” её структурой, в состав которой, наряду с действиями весьма малого числа заговорщиков, необходимо входил самый массовый, — по-существу общенациональный — резонанс на эти действия, массовое потрясение их результатами.

Морфологически такая история состоит из беспросветно “невидимых”, решительно “подковерных”-конспиративных усилий заговорщиков — и последующего потрясения миллионов зрителей “заговорной” драмы в той или иной ее кульминации.

“Общее мнение” — термин, возникший в екатерининскую эпоху и в эпоху александровскую преломившийся в “общественное мнение” — на протяжении целого века, таким образом, сосредотачивался вокруг “заговора”, как главной каузальности политической жизни, ее основного движителя.

В александровскую же эпоху, начиная с декабристов, “дворцовая революция” преломляется уже в собственно революционный заговор, столь же тщательно законспирированный и столь же резонансный по своим выходящим на историческую поверхность следствиям, преимущественно террористическим, — следствиям, в начале уже нынешнего века, с его разгулом “индивидуального террора”, завершающим массовую мифологию вокруг “заговора” в его предполагаемом абсолютном политическом и даже метафизическом могуществе.

Итак, на протяжении и последующего столетия “императорского периода” массовое его сознание ***вращается вокруг заговора*** как главного и института, и средства исторического процесса.

Но характерно, что в виду такой бесспорной политической реальности начинается, вместе с тем, его сходная мифологическая гиперболизация и на самых верхних этажах власти, подчас, как и “низы”, подверженных заговорным галлюцинациям.

Так, если упомянутый заговор царевны Софьи был реальностью, навсегда потрясшей Петра, то уже “заговор” царевича Алексея был, скорее всего, фантомом, превратившимся в том потрясенном воображении из идеологической оппозиции, едва ли не беспомощной, в самую кровавую действительность “большого застенка”.

Вслед за тем если декабристский заговор также был реальностью, то “дело” петрашевцев поражает чудовищной несоразмерностью между полицейскими гиперболами следствия и

всей юридически едва ли не трагикомической скромностью “состава преступления” — несоразмерности, над которой впоследствии потешается автор “Бесов” в их интродукции...

Но, по воспоминаниям историка Соловьева, Романовы незадолго до того “заговора”, в феврале 1848 г., после соответствующих сообщений из Парижа, “из часу на час” ожидали сообщения о “революции” из славянофильствующей Москвы (а вслед за тем “заговор” петрашевцев полицейское воображение вполне уравняло с настроениями “славян”).

Народовольческий и наследовавший ему эсеровский и “максималистский” террор только усилили заговорную мифологию верхов.

Убийства Столыпина и Распутина, эти террористические экспромты одиночек “слева” и “справа”, устрашающе завершили фундаментальный сюжет “императорского периода”, заключавшийся, с одной стороны, в постоянном в нем присутствии “заговорных” спазмов, а с другой в столь же постоянной в тот период их мифологизации — как “верхами”, так и “низами”.

В сущности, убийцы Столыпина и Распутина в своих действиях прежде всего воспроизводили “заговорную” легенду национальной истории, легенду, согласно которой последняя развертывается прежде всего в режиме того или иного ее сугубо тайного действа — в виде дворцового или революционного заговора.

ПСМ — литературно-идеологический продукт тех двухсотлетних русских “заговорных” страхов и ожиданий.

ПСМ, таким образом, едва ли не эталон “национальной” мифологии заговора, но также едва ли не эталон мифологии мирового заговора, возникший на пороге Нового времени и образовавший затем к сегодняшнему дню уже совершенно необозримую литературную продукцию самых разных жанров.

И наряду с центральной мифологемой каждый из этих текстов, в условиях броунова движения других мифологических рудиментов в массовом и другом сознании того времени (в ситуации своего рода их “бриколажа”), в своем

происхождении и в самой структуре соединял эту мифологему, скажем так, с мифом "подсобным", по тем или иным причинам, случайным или не случайным, входившим в сюжетное соприкосновение с основным, базовым сюжетом.

ПСМ в этом отношении не составляют исключения, вполне подтверждая указанное правило: главный — заговорный миф здесь неожиданно подкреплен столь же очевидным, но ускользнувшим от исследователей еврейским фольклорным сюжетом о "невидимых праведниках", на которых, собственно, и держится мировое равновесие.

"Ламед-вав цадиким" ("тридцать шесть праведников") — совершенно невидимый мистический институт, которому мир обязан самим своим существованием. Этот сюжет впервые возникает в Талмуде — весьма возможно, уже как "протокол" ранее бытовавшего устного сказания — в рассуждениях вавилонского мудреца-"амора" Аббайе, полагающего числовую основу этого сюжета в буквенной сумме изречения Исайи: "...блаженны все, уповающие на него" (30:18). Впрочем, в ученой мистической традиции цифра эта смещается то в ту, то в другую сторону — от "тридцати" или "сорока пяти" в том же Талмуде до "семидесяти двух" в дополнениях к "Зогару" (половина в Эрец-Исраэль, половина в диаспоре). В фольклоре же, особенно в эпоху хасидизма, окончательно утвердилось число "тридцать шесть" — число совершенно невидимых скрытых праведников, столь же скрытно совершающих свои благодеяния и тем самым поддерживающих мировое равновесие.

Фольклорный резонанс этого сюжета, особенно в среде восточноевропейской еврейской массы, поистине огромен. На исходе прошлого века его фиксирует молодая "народническая" беллетристика идиш (трогательный рассказ Ицхака Переца "Если не выше ещё" — парафраз хасидской легенды об одном из "праведников", в некий священный день превращающегося в простого украинского крестьянина-лесоруба "Василя", который приносит вязанку дров в холодную хижину бедной больной крестьянки). Предстал он и в русских его переводах (в частности, у Семена Фруга).

Праведники-"ламедвавники", как их именует восточноевропейский фольклор, — принципиально бе–зымянны, невидимы и столь же абсолютно влиятельны, представая, таким образом, едва ли не последней, как бы уже предбожественной каузальностью этого мира.

Можно себе только представить вслед за тем суггестивность этой легенды — уже с обратным этническим знаком, в фольклорном, а далее и литературном ее "зазеркалье" — со стороны сознания, настроенного к еврейству подозрительно, а тем более враждебно...

ПСМ — это как бы легенда о "невидимых праведниках" уже во враждебном зрачке. Ее уже совершенно демонический "реверс".

Время, выбранное историей для такого метаморфоза старинной еврейской легенды с ее метафизическим оптимизмом — в зеркально обратный сюжет о мировом еврейском заговоре, достаточно тому споспешествовало.

К концу прошлого века на верхних этажах европейской культуры с удивительной быстротой увеличивается, если можно так выразиться, топика "невидимого". Так, физика окончательно уходит в теорию поля, вследствие чего необходимо появляется физика микромира, уже совершенно ускользающего от человеческого зрачка, возникает явление рентген-лучей и понятие о радиации, — термин, характерно заимствованный из конспиративного масонского обихода ("радиация", так называемое "усыпление", то есть негласное обрядовое отчуждение бывшего "брата" от ложи). Биология тогда же начинает свое продвижение в сторону совершенно невидимого гена и следующих за ним "митогенетических лучей", не регистрируемых оптически. С другой стороны тогдашней эпистемологии в режиме некоторой специфической в ней симметрии, возникает социология "невидимого" (скажем, некоторые направления в социально-экономической науке, исследующие "невидимые" же характеристики товара, скрытно связанные с ним "превращенные формы" в общественных процессах, открытые Марксом же мистерии "товарного фетишизма" и т.д.).

“Внизу” же цивилизации “невидимое”, столь стремительно в ней возрастающее, необходимо мифологизируется — прежде всего благодаря самым разным, — хотя бы названным товарно-фетишистским — механизмам возрастающего в ней отчуждения. То, что в “философии денег” левого либерала Зиммеля или в “Финансовом капитале” левого социалиста Гильфердинга, а также в “теории субъективной ценности” ортодоксально-буржуазной “австрийской школы”, при всей своей трагической ненаглядности, подвергается самому виртуозному научному анализу, в массовом сознании драматически превращается в мифологическую картину-примитив товарно-денежного процесса.

Литература сохранила весьма оригинальный беллетристический сигнал всего своеобразия той встречи — “физики невидимого” и зловещей попытки к террору со стороны “невидимой” же силы, встречи традиционной, ещё полуфольклорной мифологии “невидимого” и массовой же, совершенно панической реакции на “невидимое”. Речь идёт о романе Герберта Уэллса “Человек-невидимка”, появившемся как бы в самом разгаре тогдашней элитарно-научной и массово-мифологической рецепции “невидимого” — в середине 1890-х гг.

Спустя десятилетия после того бума “невидимого”, как бы всколыхнувшего “конец века”, внук Якова Брафмана, вполне предварившего в своей книге о кагале основной миф ПСМ, поэт Владислав Ходасевич в стихотворении, написанном в феврале 1923 г., представляет как бы окончательный — трагический — итог той встречи “невидимой” физики с “невидимой” социологией и массовым мифом “невидимого”:

Встаю расслабленный с постели.
Не с Богом бился я в ночи, –
Но тайно сквозь меня летели
Колючих радио лучи
....
О, если бы вы знали сами,
Европы темные сыны,
Какими вы еще лучами
Неощутимо пронзены![57]

Итак, "Протоколы" возникают едва ли не в эпицентре указанного "бума". Не случайно в самой своей структуре они сохранили трагикомически прямой реликт авторского методологического крена в сторону "невидимого" — в сторону от "наглядности", пассаж, завершающий "Протокол № 16-й":

"Словом, зная из многовекового опыта, что люди живут и руководятся идеями, что идеи эти всасываются людьми только при помощи воспитания, даваемого с одинаковым успехом всем возрастам, конечно, только различными приемами, мы поглотим и конфискуем последние проблески независимости мысли, которую мы уже давно направляем на нужные нам предметы и идеи. Система обуздания мысли уже в действии, в так называемой системе ***наглядного обучения,*** имеющей превратить гоев в немыслящих, послушных животных, ожидающих наглядности, чтобы сообразить ее... Во Франции один из лучших наших агентов, Буржуа, уже провозгласил новую программу наглядного воспитания". ("Протокол № 16-й", с. 113).

Леон Буржуа — эмблематическая фигура французской политики конца прошлого — начала нынешнего столетий, образцовый представитель тогдашнего либерального истеблишмента. Но дело, разумеется, не в нем, а во внедряемой на Западе в то время "наглядности" в школьном обучении как необходимого противовеса упомянутой возрастающей "невидимости". Нормальный педагогический инстинкт эпохи, подвигший учебный процесс в соответствующую сторону, наталкивался и на эту "невидимость" и на консервативную оппозицию, чьей литературной продукцией, среди прочих, предстают и ПСМ, главенствующий структурный принцип которых — именно в опровержении самой общественной "наглядности", "рассматриваемой" в них лишь как некие условные декорации подлинной, "скрытой" реальности, как ее сомнительную, исторически преходящую "сценографию".

Такая идеологическая направленность ПСМ превращает их в резонатор всех сходных с центральным мифом сюжетов, включая и так называемых "ламедвавников", которые несомненно присутствуют в "Протоколах", но именно с демоническим обратным знаком.

И снова — “русские” следы в ПСМ.

Госпожа Фрай-Шишмарева, — английский автор из числа наиболее радикальных сторонников подлинности ПСМ, — уверяла своих читателей в том, что в Одессе начала 1890-х свидетели уже видели оригинал “Протоколов” на древнееврейском языке. Наряду с откровенным вымыслом здесь вполне можно предположить знакомство этих свидетелей с содержанием... массовой еврейской беллетристики, фиксировавшей, как в случае Ицхака Переца, легенду о “невидимых праведниках”. Напомним, что И.Л.Перец публикует ее в идишистских периодических изданиях типа “Йонтев блетлон” (“Праздничные листки”, 1894–96 гг.), предназначенных для самой массовой аудитории.

Естественно, сюжет рано или поздно мог достичь совсем другого слуха, отрезонировать в другом ценностном поле...

На такую возможность и, собственно, на саму технику такого травестирования еврейской легенды неожиданно указывает историческая проза русского писателя дореволюционного и советского времени С.Д.Мстиславского-Масловского. Эсер-боевик в 1900–1910-х гг., левый эсер во время гражданской войны, беллетрист, достаточно широко печатавшийся в советский период, Мстиславский представляется очень любопытной, с немалой долей политической и другой авантюрности фигурой. Сознательный искатель приключений, создатель специальной “философии протеизма”, позволявшей ее носителю весьма свободно чувствовать себя как в самых изысканных и герметичных аристократическо-бюрократических салонах Петербурга, так и в самом глубоком революционном, а затем и масонском подполье (в 1906–1907 гг. он возглавлял Всероссийский офицерский союз, куда входили, с одной стороны, террористы в армейских и даже гвардейских мундирах, а с другой — тогда еще умеренный либерал-генерал Деникин). “Философия” эта позволила ему уже на полном ходу советской истории переменить политическую ориентацию, по его словам, “сдав экзамены на большевика”, — выпустив в свет роман “Грач — птица весенняя” о “ленинце” Н.Э.Баумане, вошедший впоследствии в

самый массовый советский читательский обиход. Сергей Мстиславский вместе с тем в своей исторической беллетристике уникальным образом сохранил, скажем так, сугубо устный репертуар тех или иных коллизий русского революционного и праворадикального подполий — то, что ускользало как от партийной и полицейской, так и всякой другой письменной фиксации.

В этом отношении особенно любопытен роман С.Мстиславского “Партионцы” (1933), резонирующий самыми неожиданными отзвуками народовольческой легенды — в ее последующей эсеровской рецепции. И вот в этом романе — в самой апологетической тональности — происходит трансформ упомянутого сюжета о тридцати шести праведниках в легенду революционную: скажем так, подполье онтологическое вдруг преломляется в политически-экстремистское, да еще самого левого свойства.

Дед “народоволки” Геси Гельфман (той самой, что после Первого марта удостоилась самой агрессивной дневниковой реплики Льва Толстого) в те дни излагает в романе Софье Перовской легенду о “ламедах-праведниках”: “Земля живет по закону властных. Но есть на земле тридцать шесть — вольных от закона властных, знающих правду и творящих ее в обличение закона лжи. Не спрашивай, где они, в какой земле, в городе или селении. Их не назовет никто, потому что у них нет имени: где правда — там нету имени, и где имя — там нету правды, потому что только безымянной может быть правда. И потому закон жизни таков — и такова была тайна тридцати шести: от каждого из них, от их дела и слова, станет на земле новых тридцать шесть, если не сумеет пройти жизнь, совершить свое дело без имени; и от каждого нового безымянного — станет опять тридцать шесть, и правда будет расти, гася имена, пока вся земля не станет утверждением правды. Но кто из них, праведных, тридцати шести, обретет имя, тот не даст людям ни одного нового праведника, и от него не будет иного следа, кроме праха и имени. Соблазн имени — силен, сильнее, может быть, всех человеческих законов; оттого и случилось, что века прошли с того дня, как “они”, тридцать шесть, стали

на земле, а их все столько же, сколько было: тридцать шесть: ламедвов нисторим”.[58]

Вслед за тем еврей-часовщик торжественно объявляет Софью Перовскую и ее товарищей–”партионцев” — “праведниками”, но уже обреченными, поскольку полиции известны их имена.

Эта поразительная картина самого трагического транспонирования одного из центральных сюжетов еврейского сознания в революционный русский синодик (троп, образованный в направлении некогда предложенного М.О.Гершензоном образа “русского либерального синодика”) указует на сам способ позднего мифомышления, преобразующего упомянутый сюжет в сторону, где он совершенно теряет свою первоначальную семантику.

С.Д.Мстиславский в соответствии со своей ориентацией, легенду о “ламедвавниках” направил резко влево, в сторону легенды революционной. Но сама его историческая проза уже подсказывает — даже не возможность, а неизбежность праворадикальной аберрации еврейской легенды, ее уже не “революционного”, а “реакционного” истолкования.

Писателю принадлежит совершенно уникальная в исторической литературе картина именно праворадикального подполья в агонизирующей империи, возникновение заговора “справа”, лишь отдаленно напоминающего чисто династические коллизии “дворцовых переворотов” прежнего времени. В “вводной” новелле из цикла “Женщина, тигры и орлы”, который входит в серию “Откровенных рассказов полковника Платова о знакомых и даже родственниках” офицеры-гвардейцы рассуждают о том, что “этим толстосумам надо обрубить ноги, пока они окончательно не оттоптали нам пятки...”, иначе “так мы дождемся — конца дворянской России.” В этих “откровенных разговорах” нет веры в “первого дворянина Империи”, так как “он — нигилист: только о себе думает. При таком царе — дворянство и пойдет на слом” и соответственно предлагается посадить на престол “великого князя Николая Николаевича” — “вот это — настоящий офицер и дворянин”. Так “в эту ночь, в синей штофной гостиной артистки Суворин-

ского театра Топориной — семь гвардейских офицеров и исключенный со службы армейский подпоручик — положили начало офицерскому заговорщическому союзу. Целью определено: дворцовый переворот, введение на престол Николая Николаевича, разгон Таврической говорильни, восстановление — в прежнем блеске и силе — дворянского первенства в империи. Название союза предложил Карамышев: "Красный орел"!"[59]

Семантика "безымянности", связанной с революционным движением, с необходимой его конспиративностью входит в русскую культуру в 1860–70-х гг., в тональности то крайнего неприятия (злобная реплика Фета о "фальшивых паспортах героев "Что делать?"), то сочувственной и даже патетической. В самом конце тургеневской "Нови", возникавшей поначалу едва ли не одновременно с "Бесами" и также рефлексирующей на процесс Нечаева (он здесь упоминается под именем "Василия Николаевича"), "трусоватый", но наблюдательный Паклин разговаривает с простоумной, но убежденной революционеркой Машуриной:

"— Вы уходите? — промолвил Паклин. — Где вы живете, по крайней мере?

— А где придется.

— Понимаю: вы не хотите, чтобы я об этом знал. Ну, скажите, пожалуйста, хоть одно: вы все по приказанию Василия Николаевича действуете?

— На что вам знать?

— Или, может, кого другого. — Сидора Сидорыча?

Машурина не отвечала.

— Или вами распоряжается ***безымянный*** какой?

Машурина уже перешагнула порог.

— А, может быть, и безымянный!

Она захлопнула дверь.

Паклин долго стоял неподвижно перед этой закрытой дверью.

— "Безымянная Русь!" — сказал он наконец".[60]

Словом, старинная еврейская легенда о неведомых праведниках, в самом неожиданном переплетении с русской темой

“безымянного” революционного подполья, предстает как возможный фабульный импульс — к созданию ПСМ. Или, по крайней мере, в пору их создания принимается во внимание в связи с их возможным резонансом в стране, в которой, как мы видим, эта легенда имела наибольшее хождение.

Наряду с русскими литературно-идеологическими следами в ПСМ есть и специально политические. Напомним известный эпизод в истории появления и самой рецепции ПСМ.

Итак, 17 апреля 1927 г. в Югославии русский эмигрант Филипп Петрович Степанов, камергер и действительный статский советник, в прошлом прокурор Московской синодальной конторы, дал следующее письменное показание, юридически засвидетельствованное: “В 1895 году мой сосед по имению Тульской губернии отставной майор Алексей Николаевич Сухотин передал мне рукописный экземпляр “Протоколов Сионских мудрецов”. Он мне сказал, что одна его знакомая дама (не назвал мне ее), проживавшая в Париже, нашла их у своего приятеля (кажется из евреев) и перед тем, чтобы покинуть Париж, тайно от него перевела их и привезла этот перевод, в одном экземпляре, в Россию и передала этот экземпляр ему — Сухотину.

Я сначала отпечатал его в ста экземплярах на гектографе, но это издание оказалось трудно читаемым и я решил напечатать его в какой-нибудь типографии без упоминания времени, города и типографии; сделать это мне помог Аркадий Ипполитович Келеповский, состоявший тогда чиновником особых поручений при В.К. Сергее Александровиче; он дал их напечатать в Губернской Типографии; это было в 1897 году. С.А.Нилус перепечатал эти протоколы полностью в своем сочинении со своими комментариями”. [61]

Люди, события и обстоятельства, называемые в свидетельстве камергера Степанова, достаточно загадочны, но вполне возможна расширенная семантическая реконструкция происходившего в тульской губернской тиши середины 1890-х .

Ф.П.Степанов — вполне реальное лицо, смерть которого в “югославской” эмиграции переживалась в окружении С.А.Нилуса, его доброго знакомого.

А.Н.Сухотин — предводитель дворянства Чернского уезда Тульской губернии, впоследствии вице-губернатор в Ставрополе, "отставной майор", что косвенно вполне указывает на возраст, скажем так, офицера связи между дамой, раздобывшей "Протоколы" в Париже, и "праворадикальным" кружком тульских дворян, рискнувших, совершенно в традициях левых радикалов, на бесцензурное издание определенного текста (косвенное свидетельство сухотинского возраста заключается в том, что чин майора в русской армии был отменен в 1884 г.: следовательно, "офицер" тот был во второй половине 1890-х , — как, впрочем, и полагается консерватору, далеко не молодым человеком).

Чрезвычайно характерно указание на помощь со стороны некоего Аркадия Ипполитовича Келеповского, состоявшего "чиновником особых поручений при В.К. Сергее Александровиче". Келеповский — впоследствии, в 1900-х, весьма известная фигура в крайне правом лагере, думский его трибун.

Великий Князь Сергей, помимо своих обязанностей московского генерал-губернатора, возглавлял также Палестинское общество, что, разумеется, было сопряжено не только с конфессиональными и археологическими интересами Великого Князя: в ту пору, в атмосфере нерешенного "восточного вопроса" (то есть окончательной ликвидации Оттоманской империи), начиналась яростная конкуренция великих держав за влияние в палестинском регионе той империи, осложненная "еврейским вопросом" в тогдашней его редакции.

"Значение Палестины сильно возросло после открытия Суэцкого канала (1869). Каждая "великая держава" стремилась обеспечить свое преобладание в Палестине, используя для этой цели свою церковную агентуру, "научные" общества, сельскохозяйственную колонизацию, строительство железных дорог и т.п. В 80-х гг. XIX в. началась еврейская иммиграция в Палестину; первые еврейские сельскохозяйственные колонии, основанные на деньги парижского банкира Э.Ротшильда были орудием французской экспансии. Возникшее в 90-х гг. в Европе сионистское движение, ставившее своей задачей создание еврейского государства в Палестине, первоначально являлось

агентурой германского, а впоследствии английского империализма".[62]

При некоторой марксистской лубочности этой характеристики палестинской ситуации в конце века, — когда давнее столкновение тамошних интересов великих держав именно осложнилось появлением в ближневосточном политическом пейзаже еврейского "фактора", — советская энциклопедическая справка совершенно верно указует на то, что этот "фактор" мог вступить в любые политические комбинации со странами Запада, но не с Россией того времени, то есть не с Санкт-Петербургом.

Где-то впереди, в начале близящегося следующего века, маячили встречи Теодора Герцля с министром-ультрареакционером Плеве, по обстоятельствам чисто полицейским соглашавшимся на еврейскую эмиграцию в Палестину, но в конце века Великий Князь символически возглавлял не только Палестинское общество, но и соответствующее направление в русской внешней политике, в которой проблема той эмиграции была не более чем неприятным сюрпризом, столько же неожиданной, сколько и досадной помехой. Появление "чиновника особых поручений" при том Великом Князе, Келеповского, персонажа более чем реального, представляется весьма убедительным свидетельством в пользу всей реальности — обстоятельств, заявленных Ф.П.Степановым в его "югославском" мемуаре.

Скорее всего, рассказанное им — не миф, но именно реальность, свидетельствующая в свою хронологическую очередь о времени появления и первоначального распространения "Протоколов".

Напоминаем, что "Протоколы сионских мудрецов" были напечатаны П.А.Крушеваном, журналистом и беллетристом, под данным им названием "Программа завоевания мира евреями" в его петербургской газете "Знамя" в сентябре (по новому стилю) 1903 г.

Как сказано в одной ранней повести Крушевана-беллетриста: "Стоял сентябрь — агония умирающего лета" ("Счастливее всех", 1882).

Сентябрь 1903 г. в биографии Крушевана-политика и соответственно ориентированного журналиста (“человека государственной идеи”, по комплиментарному выражению его старшего единомышленника, в ту пору весьма известного ультраконсерватора Виссариона Виссарионовича Комарова) предстает, в виду напечатания им “Протоколов” (“Программы”), как одновременно и иррациональное, и логическое завершение всей его предшествующей “идеологической” биографии, и производных от нее коллизий, предшествующих 1903 г.

Павел (Паволакий) Крушеван (1860–1909) — по происхождению бессарабский помещик, деклассированный пореформенной русской историей, да еще в специфических “бессарабских” условиях, в которых еще в эпоху Восточной войны управлявшийся, среди прочего, по византийской “кормчей книге” и византийскому же кодексу XIV в., регион, где, по слову одного русского правительственного документа, “действовало одно только безбожное и бесчеловечное право сильного, для бояр выгоднейшее”, на предельной скорости той истории был ввергнут в товарно-денежные отношения, означавшие для тамошней аристократии едва ли не катастрофу (впрочем, и для крестьянства тоже).

Вообще русская Бессарабия и дунайские княжества, недавно преобразованные в румынское государство, на устрашающе быструю и разрушительную “модернизацию” ответили созданием едва ли не самой агрессивной в Европе антисемитской мифологии, и Крушеван, бессарабский “люмпен-дворянин” (А.В.Чанцев), который, к слову, только незадолго до смерти добился юридического признания за собой потомственного дворянства, и предстает в роли сначала беллетриста, живописующего хронику “бессарабского” и общеимперского дворянского “оскудения”, а затем публициста, в самых крайних формах исповедующего ту мифологию, превратившего еврейство в последнюю и самую разрушительную каузальность и “дворянской” и всей другой истории. Беллетристика здесь дополняется журналистикой — и обе они по своей структуре весьма предвосхищают ПСМ.

Характерно, что в ранней беллетристике Крушевана драма того "оскудения" развертывается, в общем, без какого-либо участия еврейства, в режиме "собственного" сословного эгоизма. О евреях в упомянутой повести "Счастливее всех" говорится совершенно вскользь, в связи с неким южнорусским городом: "Грязнов (Одесса? Кишинев? — *В.С.*)... 100 000 жителей. Половину населения составляют евреи, половину — христиане; промышленности — никакой", зато много говорится о классовой беспомощности дворянства: "Шаткость убеждений, флюгерство — вот это у нас плохо, вот почему ловкий человек может водить нас за нос". Так один герой, князь Шеванов характеризует свою среду, тогда как другой, аристократ-космополит, бесцельно скитается по Европе. "Я прожил эгоистом" (Андрей Баторин — Александру Баторину, собственно Шатаеву-Баторину). Вполне объективно, хотя художественно едва ли не беспомощно изобразив эгоистический стиль той среды, ее "шаткость" — и нравственную, и экономическую — автор вместе с тем, вполне в духе позитивистской эпохи, начинает искать "корень наших бед", как выразился другой бессарабский помещик и другой (собственно, второй по времени) издатель "Протоколов", Г.В.Бутми де Кацман (именно таково название его брошюры, 1905 г, также содержащей "Протоколы").

Уже в повести "Счастливее всех" возникает по признанию автора, "сознание человеческого ничтожества и бессилия в борьбе со слепыми и беспощадными обстоятельствами"; в последующей крушевановской беллетристике, окончательно превратившейся, по убедительной формуле упомянутого А.В.Чанцова, в самую "безысходную "детерминированность" (сб. "Призраки". М. 1896, 1900; роман "Дело Артабанова", М., 1896, 1900).

Так и возникает в середине 1890-х "историософия" Крушевана, в которой России с Запада грозит "разложение", с Востока — "желтая опасность", а посредине — мифологизированный же "ловкий человек", уже обрастающий вполне конкретными этническими признаками, быстро становящийся воплощением указанных "беспощадных обстоятельств", самой

разрушительной детерминантой национальной и мировой истории.

Так Крушеван оставляет беллетристику и всецело сосредоточивается на публицистике самого брутального свойства — и как автор, и как издатель газеты "Бессарабец", с 1896 г., и "Знамя", с 1903), публицистике, атакующей еврейство как главного виновника и бессарабской, и общероссийской, и мировой "шаткости".

1903 год — пик соответствующих усилий Крушевана, не в последнюю очередь вследствие которых и разразился кишиневский погром — на христианскую Пасху того года. Погром, бушевавший 6–7 апреля в Кишиневе — едва ли не первое в этом столетии массовое производное от газетной кампании, от погромной агитации крушевановского "Бессарабца" (в этой газете убийство христианского мальчика в г. Дубоссары Бессарабской губернии было объявлено ритуальным). "И это день за днем, номер за номером повторялось в течение целых недель. И это одно царило над воображением целого края, так как "единственная газета" приводила лишь те отзывы столичной прессы, которые повторяли его собственные мрачные измышления". (В.Г.Короленко).

Вслед за кишиневскими событиями студент-еврей П.С.Дашевский покушался на жизнь Крушевана. Последний потребовал для покушавшегося смертной казни и затем, в продолжение уже совершенно перешедшей всякие границы упомянутой газетной кампании, публикует — в сентябрьском "Знамени" 1903 г. — "Программу завоевания мира евреями".

Эта публикация предстает именно как "журналистское" завершение-продолжение "раздраженной" беллетристики Крушевана, изображавшей дворянский упадок да ещё осложненный его "местным" регионально-бессарабским колоритом, и одновременно тщившийся выявить первопричину того упадка.

Литература, превращенная в род кистеня.

И вот после этого атомарного, при всей своей агрессивности, явления обратимся к куда более внушительным мировоззренческим явлениям, обусловившим чрезвычайный резонанс ПСМ.

Напомним о некоторых, скажем так, чрезвычайно важных фактах еврейского присутствия в большом историческом времени.

Присутствия, в сущности, уже вполне освещенного мировой наукой и здесь нуждающегося лишь в некоторых дополнительных комментариях, связанных исключительно с нашим предметом.

Обратимся к идее о цикличности Древнего Востока (например, в истории Древнего Египта), по мнению бельгийского ученого Пиренна-сына, с известной регулярностью возвращающейся на те или иные свои первоначальные позиции. Эта идея если и не убеждает до конца, то, по крайней мере, весьма выразительно напоминает о тех или иных достаточно однотипных эпизодах этой истории (скажем, о катастрофических "эпилогах" Древнего, Среднего и Нового царств, о так называемых "Первом", "Втором" и т.д. "распадах", когда страна дробится на мелкие "номовые" государства, становится добычей партикулярных страстей, иноземных завоевателей, а затем и вовсе теряет свой "классический" социально-политический облик).

Истоки Пиреннова циклизма восходят, в соответствии с судьбой его поколения, к циклизму шпенглеровскому, и, возможно, к самой травме первой мировой войны, к тогдашней трагической участи Бельгии, истоптанной германскими "тяжелыми дивизионами" (можно вспомнить старшего коллегу Пиренна, капитана-эльзасца Люсьена Февра, начавшего в 1919 г. свой курс в Страсбургском университете с лекции под названием "История в мире развалин...").

Что ж, египтологи, наверное, вправе спорить с построениями Ж.Пиренна (скажем, в 1912 г. Д.Х.Брестед, автор некогда популярной "Истории Египта", в духе позднего эволюционизма говорил о "развитии" — "development" — "религии и мысли" в древнем Египте).

Вместе с тем ***вся*** древняя история Ближнего Востока и прежде всего всей передней Азии — от Трои с её девятью слоями до "Ура халдеев" близ Персидского залива, города, уже в эпоху эллинизма ставшего легендой, — действительно лежит "в мире развалин".

"Цикличность" на самом деле входит в сам состав этой истории.

Новоевропейская мысль явственно ощутила это в самый канун археологического бума XIX столетия — в самом конце предшествующего ему столетия, когда француз Константин Вольней, один из самых блестящих умов той эпохи, на развалинах "старого режима", в преддверии крушения Оттоманской империи под мощными ударами её северного соседа (основные импульсы его историософской, востоковедной, политической и т.п. мысли) — писал (пожалуй даже живописал) свои знаменитые "Руины, или Размышления о революциях империй".

Вольнеевы "Руины" — это как бы средняя створка в европейской циклистской "триаде", разместившаяся между "Новой наукой" Дж.Вико и "Закатом Европы" Шпенглера.

С той поры Пальмира (по-арабски "Тадмор") с ее резким контрастом величественных развалин бывшего мирового города и жалкой сирийской деревушкой становится как бы идеальной парадигмой древневосточной цикличности, популярным археологическим образом "кружения времен" (достаточно вспомнить бесчисленные "кипсеки" прошлого столетия, специфическую традицию их дилетантского "исследования").

Спустя столетие после появления Вольнеевой книги историческая наука, в продолжение "пальмирских" интуиций французского ученого, представила точную археологическую карту этого "крушения", его добросовестный исторический "протокол".

Оказалось, что вся передняя Азия испещрена такими "пальмирами", чья история пульсирует то расцветом, то разрушением.

Спустя же полтора столетия, с появлением трудов, обобщающих проблему социально-экономического устройства древних обществ (типа уже классических "Земельных отношений" И.М.Дьяконова или "Государственного хозяйства Древнего Шумера" А.И.Тюменева), этот "пальмирский" синдром классического Востока во многом перестал быть тайной, потерял свой иррациональный загадочный характер.

Ключ к этой тайне — во многом в своеобразии социально-экономической структуры древневосточного общества, в его некоем, вполне поддающемся рациональному истолкованию "алгоритме".

Известно, что основой, "молекулой" этого общества первоначально была земледельческая община, претерпевающая затем ряд сложных трансформаций сначала в так называемые "храмовые государства", а затем в их совокупность, скрепленную громадным военно-бюрократическим аппаратом во главе с автократором, "царем".

Разумеется, это весьма упрощенная схема становления так называемых "восточных деспотий": в исторической действительности этот процесс, естественно, выглядел много сложнее.

Тем не менее, "азиатский способ производства", по известной формуле Карла Маркса, возникающий в таких социальных условиях, был всецело основан именно на планомерной и беспощадной эксплуатации земледельческих масс, крепко сбитых бюрократией и традицией в компактные и одновременно изолированные друг от друга коллективы. "Естественный" порог этой эксплуатации и столь же "естественное" возрастание алчности целой армии чиновников необходимо вызывали кризисное состояние "народного хозяйства", и государственный организм, пытаясь справиться с кризисом, становился на путь военной экспансии в сторону своих соседей. Грабительские походы той эпохи предстают, таким образом, как некий экономический допинг, необходимый для жизнедеятельности такого организма, а не только как иррациональный остаток "колоссального темперамента", скажем, ассирийских царей...

У таких походов, понятно, могло быть только два исхода — либо победа, либо поражение, но в обоих случаях то или иное царство обращалось в прах. Оттого Передняя Азия и напоминает гигантский некрополь исчезнувших цивилизаций, захороненных буквально друг на друге.

Таков самый общий контур вольнеевских "революций империй", их необходимая амплитуда от триумфа до упадка, мистифицированная впоследствии иррационалистской философией истории.

Этот циклический "бег времени" вполне просматривается в наиболее фундаментальных событиях ближневосточной древности, начиная с шумеров.

История шумерских городов с их нескончаемыми войнами из-за каналов и орошаемых полей в полную силу демонстрирует "круговоротный" принцип этой древности: она начинается с гегемонии Киша (первая его династия; XXVIII до Р.Х.), затем следует его поражение в борьбе с Уруком (господство династии, к которой принадлежит и полулегендарный Гильгамеш), возвышение Урука осложняется успехами правителя (энси) Уммы-Лугальзаггиси, разгромившего знаменитого Урукагину, царя Лагаша, пытавшегося реформировать, пожалуй, даже "либерализовать" неимоверно разросшийся и занесшийся бюрократический аппарат; Лагаш отчасти разрушен, но удачливый "энси" вдруг сам терпит жестокое поражение от царя Аккада Саргона Древнего (все это происходит в XXIV в. до Р.Х.). Саргон создает свою империю, объединившую едва ли не все Двуречье, но события следуют в том же темпе и в той же последовательности. "Царство Шумера и Аккада" — первая централизованная деспотия-сверхдержава — очевидно, вследствие эгоистической политики чиновничьего сословия, новообразованного из низов, — вскоре растеряло свой громадный военный потенциал и превратилось в легкую добычу полукочевников гутиев (XXII в. до Р.Х.). После их недолгого господства возникает гигантское военно-бюрократическое образование, столь могучее, сколь и обреченное: бюрократический контроль здесь приобретает уже несколько параноидальные, как бы гоголевско-оруэлловские формы. Напомним, что именно Ур Халдейский — город, в котором родился и который — по требованию Бога — оставляет Авраам (Быт. 12, I) и, похоже, своевременно: ок. 2024 г. до Р.Х. Ур пал под ударами степняков-амореев (амиритов), действовавших совместно с эламитами.

Но ведь, в сущности, в той же циклической плоскости развертывается история любого другого участка древневосточного мира.

Вспомним катастрофы, которые сотрясали Вавилон на протяжении более чем тысячи лет — от господства пришлой

(аморейской) династии сразу после крушения Ура III династии, тогдашнего его владетеля, до появления в нем Кира (здесь и захват его хеттами, и трехсотлетнее касситское иго, и четырехкратное разрушение ослушного города ассирийскими царями).

Неудивительно, что на безрадостном фоне такого циклического ритма вавилонской истории языческий царь, навсегда ее остановивший, вдруг предстает в Ветхом Завете как "помазанник" Яхве, его, в сущности, эсхатологическое орудие...

Также ассирийская история мерою вспыхивает и мерою погасает, становится зависимой то от старовавилонского царства, то от Митанни, то снова от Вавилона, то даже от арамейских кочевников. Собственно, едва ли не каждое столетие этой истории отмечено как громкими победами, так и тотальными поражениями, превращавшими великую империю в колосса на глиняных ногах. Так, Ашшур после первых самостоятельных шагов в мировой политике становится данником Хаммурапи. После "ренессанса" XV–XIII вв. до Р.Х. следует новая унизительная зависимость от Вавилона. Тиглатпаласар I возвращает Ассирии ее могущество, но уже конец его царства был концом этого могущества.

Последующие эпохи представляют собой столь же впечатляющее сцепление подъемов и кризисов, за которыми следует окончательный разгром, по своим масштабам и по своему резонансу как бы предваряющий крушение Вавилона.

Итак, "классический" Восток с избытком поставляет исторический материал для крайне пессимистической историософии (уже в последние десятилетия этот материал был существенно дополнен хеттскими, угаритскими и т.д. фактами). В основе этой историософии — напряженнейшая и безвыходная цикличность, нескончаемое повторение одних и тех же фазисов, стадий, состояний формации, обреченной такому круговороту из-за малого развития своих производительных сил, их неминуемого истощения и упадка — и их столь же неминуемого искусственного взбадривания средствами растущей военно-бюрократической эксплуатации и экспансии.

Разумеется, в силу условий того времени, когда историческое знание и чувство еще совершенно не эмансипировалось от мифа и религии, такая историософия не могла предстать в виде цельной философии истории в современном смысле. Она только как бы "просвечивает" из переднеазиатской мифопоэтической толщи, имплицированная в фундаментальную для всего Древнего Востока универсалию божественного рождения, созревания, умирания и воскресения (то есть нового рождения). "Биография" переднеазиатского умирающего и воскресающего бога — это и "биография" любого из тамошних социально-государственных образований (а не только сколок с природного, космического круговорота — с годичного календаря). Мифопоэтическое видение такого рода необходимо пессимистично — все события мира оно включает в пятиактную драму указанной универсалии, драму, без конца повторяющуюся на мировой сцене.

Дж.Неру, исследуя религии и идеологии Востока, приводит свидетельство человека, внимательнейше их изучавшего (правда не только с научной, но и другой целью): "Т.Э.Лоуренс заявляет, что "общей основой всех семитических вероисповеданий, как сохранившихся так и исчезнувших, была неизменная идея бесцельности жизни. А это часто приводит к чередованию разнузданности и самоотречения".[63]

Ветхозаветная словесность вполне очевидно предстает прежде всего как наирезчайший мировоззренческо-полемический ответ на такую "бесцельность", на указанную переднеазиатскую цикличность — и самой реальной истории, и её идеологических (прежде всего мифологических и религиозных) отражений. Таким образом, возникает своего рода "вольтова дуга" между названной словесностью и всей суммой древневосточного опыта (включая литературно-идеологический), сложная диалектическая связь-противостояние: первый в истории неэлементарный случай "межлитературных" контактов, основанных не просто на заимствовании той или иной топики (суммы мотивов), а на её энергичном, последовательном, пожалуй, даже героическом преодолении и превращении.

Ветхий Завет — это именно обобщенная и в то же время, в режиме самой грандиозной полемики, превращенная сумма едва ли не всего исторического опыта Ближнего и Среднего Древнего Востока, того как бы беспросветного опыта, чьей пессимистической, во множестве разнообразных текстов засвидетельствованной цикличности здесь уже противостоит напряженнейшая линейность мирового времени, отныне всецело направленного к некоему абсолютному его Смыслу, уже никак не отменяемому и не снимаемому каким бы то ни было кружением времен, их ранее кажущемуся тотально разрушительным круговоротом.

Таким образом, ветхозаветная народность на пути колоссальнейшего мировоззренческого усилия обрела доселе невиданную модель вселенной, подлежащей некоему навечному Смыслу, а не онтологически бессмысленной временнуй пульсации, указанной беспросветной временности...

Итак, тысячелетний процесс еврейского присутствия в мировой истории, начинающийся с самого появления имени "Авраам" в месопотамских клинописных текстах второй половины 3-го тыс. до н.э. — и, соответственно, с той минуты, когда Авраам покидает рушащийся Ур, — на исходе XIX века уже "нашей эры" до чрезвычайности был осложнен обстоятельством самого драматического свойства: именно в конце того века, в силу определенных исторических условий, в нем встретились — в режиме некоего предельно мистифицированного синтеза — три равно радикальных, но весьма несхожих по своему происхождению не-приятия того присутствия:

— религиозный антисемитизм, возникший еще в политеистической древности, самым раздраженным образом рефлексировавший на иудейский монотеизм и на сопровождавший его абсолютный этнический герметизм еврейства, антисемитизм уже на самом пороге христианства и затем средневековья преобразованный историей в монотеистическое, но тем более решительное неприятие еврейства, ставшее сквозной событийной константой всего христианского Средневековья;

— политический антисемитизм, возникший вскоре после французской революции, починающей в европейском, а затем

и во всем мировом пространстве национально-государственное строительство, основанное прежде всего на той или иной моноэтнической доминанте, необходимо выталкивающей из того строительства все другие конкурирующие этносы, включая еврейский;

— расистский антисемитизм, возникший на самом исходе прошлого века в виде самого конъюнктурного резонанса на тогдашнее естествознание, как псевдобиологическое обоснование антисемитизма религиозного и политического.

Но, разумеется, факты эти не исчерпывают всей драмы мировой истории, в глубинах которой не прекращается сведение счетов с этносом, попытавшимся вырваться за пределы повсеместного кружения времен.

По словам С.С.Аверинцева, "теизм "расколдовывает" Вселенную, которая для Фалеса была "полна богов, демонов и душ", низводя ее до "творения". Однако, с момента возникновения новоевропейского мировоззрения начались его тяжелые конфликты со стоявшим у его колыбели теизмом".[64]

Остановимся именно на одном из этих конфликтов, заключающемся в том, что новоевропейское "освобожденное" мировоззрение как раз на пути этого "освобождения" непрестанно передает те или иные функции Абсолюта — той или иной посюсторонней силе. "Личности". "Классу". "Народу". И т.д.

Сам термин "средние века" впервые появился то ли в 1667 г. в Лейдене — в трудах профессора Горна, то ли в 1685 г. в Галле, у Целлария.

Во всяком случае, он возникает в том самом европейском межеумочном времени, которое в равной степени можно счесть и сумерками Барокко и зарей Просвещения, — возникает как бы в хронологических окрестностях смерти Рембрандта (1669) и рождения Секонда-Монтескьё (1689), этих столь эмблематических фигур столь несхожих эпох.

По-видимому, именно в таком весьма двусмысленном оптическом режиме колеблющегося исторического дня, в средостении-смещении его закатов и восходов, и появляется не только само "рубежное" чувство истории, но и необходимый лингвистический способ межевания её смещающихся временн'ых

границ — языковое обозначение, филологически вполне сохраняющее указанную двусмыслицу.

“Средние века” — довольно произвольное, но чрезвычайно выразительное терминологическое производное от тогдашнего ощущения некоего грандиозного аксиологического заката, захода всех солнц предшествующего мира. И восхода времени, впоследствии названного Новым.

Что же составляло смыслоносную основу, смысловой же центр того уходящего мира, всецело-повсеместно определявший решительно всю его феноменологическую сумму — от самого обыденного, простейшего житейского пласта до явлений и событий по своей исторической семантике уже стратегических?

Непререкаемый-неоспоримый авторитет Абсолюта, в бесконечном могуществе своем волящем всем проявлениям бытийного процесса — вот что расположено в самом центре картины мира, созданной — миром, названным в указанную пору “средневековым”. И вот в самом начале XIX века в европейском пейзаже едва ли не внезапно появляется герой, вызвавший в “образованных классах” едва ли не шок и уж во всяком случае самое напряженное внимание, постоянно затем преломлявшееся в сострадание — как вполне искреннее, так и достаточно деланное. Пролетарский Калибан, при самом своем рождении предстал в трагическом обличии, в ужасном сопряжении самых предельных его физических усилий и самых крайних — и к тому же массовых — форм его нищеты. Так что появление на пороге того столетия “рабочего вопроса”, — в виде самых разных интерпретаций пролетарской участи, реальной и возможной, появление разнообразной социальной рецептуры вокруг этого “вопроса” — и сегодня, уже на исходе столетия нынешнего, представляется, в общем, одним из самых разумных и необходимых шагов пореволюционного европейского человечества (собственно, интеллектуальной элиты господствующих классов).

Политические деятели и капиталисты, экономисты и профессиональные филантропы, духовные и просто праздные лица без конца комментируют положение рабочего класса в

Англии и других еще более молодых индустриальных странах — комментируют в едва ли не ритуальной для той эпохи интонации сострадания к этому положению. Гуманистическая риторика вокруг всей безотрадности последнего переполняет все этажи и жанры тогдашней публицистической словесности.

Это чисто литературное сочувствие к страданиям пролетариата заканчивается столь же неожиданно, сколь и необходимо — на самом пороге 1840-х годов — абсолютной его апологией, возникновением специфической историософии, превращающей страдающий класс в главную ось Нового времени, вокруг которой должно вращаться всей феноменологии этого Времени.

В воспаленном левогегельянском воображении пролетариат становится единственной бесспорно структурообразующей силой истории, могущей совершенно переменить ее состав — в направлении, поразительно напоминающем весь онтологический спектр христианского спасения.

Такая удивительная перемена пролетарской судьбы: от сентиментально-филантропической риторики вокруг нее, образовавшей целые массивы соответствующей литературы, от растерянно-тревожной интонации в знаменитом женевском диалоге–1821 Сисмонди-Рикардо, сводившемся к сфинксовому — как же все-таки решить загадку новообразованного столь трагического класса, до появления Марксовой доктрины, этот класс абсолютизировавшей.

Европейская культура от Рейналевой "Философской и политической истории утверждения и торговли европейцев в обеих Индиях" (1770) до "Моих темниц" Сильвио Пеллико (1832) литературно и, в широком смысле, педагогически пребывает в самом напряженном "воспитании чувств", научаясь — самое меньшее — замечать человеческое страдание, коллективное у Рейналя, живописавшего первые колониальные ужасы, и индивидуальное у Пеллико, безыскусно записавшего свой одиночный и другой тюремный опыт. Литературное сочувствие пролетариату возникает именно в этом поле европейского в самом благородном смысле сентиментализма и соответствующего "воспитания" тогдашней культуры. Первый серьезный публицисти-

ский опыт юного Энгельса “Письма из Вупперталя” (1839) в картинах “страшной нищеты низших классов” — рабочих-текстильщиков Эльберфельда — еще вполне принадлежит соответствующей литературной традиции. Но уже “Положение рабочего класса в Англии”, вышедшее в июле 1845 года в Лейпциге, одновременно с завершением этой традиции, в полной синхронии со всей страшной номенклатурой того “положения” сообщает пролетариату (во всяком случае, английскому) дополнительные черты во “всеобщем прогрессе человечества”.

Энгельс той поры, левый радикал, яростно опровергающий “чистый” республиканизм, поскольку, по его словам, республика так же проникнута теологией, так же несправедлива, как и монархия, исполненный, по собственному признанию, “немалым философским высокомерием”, в своей манчестерской монографии, так же как и его соавтор по “Святому семейству” Маркс, вдруг переносит всю непомерную ноуменальную тяжесть объектов, “проникнутых теологией”, на класс более всех исстрадавшийся.

Так последние становятся первыми — и социальная среда, отмеченная ныне уже невообразимыми язвами, подвергаемая самым чудовищным унижениям, именно вследствие этих язв и унижений превращается в молодой коммунистической доктрине в субъект истории, в её перводвигатель. При этом она необходимо наделяется авторами доктрины могуществом, ранее принадлежавшим Абсолюту, — во всяком случае, ей сообщается огромный массив той трансцендентной энергии.

Класс-калибан, еще на пороге прошлого века возбуждавший всеевропейские филантропические толки и проекты, в середине его вдруг предстает — главным распорядителем истории.

“Всё остальное слишком известно”.

Нечто схожее, — только в обратном аксиологическом направлении — произошло с еврейством. Смятенное множеством разнообразных кризисов, новоевропейское человечество “приписало” тому — в системе тех же “абсолютных” координат — едва ли не главную каузальность в тех кризисах.

“Протоколы сионских мудрецов”, как и, впрочем, “Манифест Коммунистической партии” — литературно-идеологи-

ческие свидетельства того, как свойства Абсолюта, его всевластие, сама его безграничная мощь и энергия внезапно переносятся, соответственно, на тот или иной народ, на тот или иной класс.

"Всё остальное — слишком известно".

Всё, кроме конкретной персоны автора ПСМ.

Остановимся на ней.

II. "ДОКТОР ФАУСТ.
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПИСАТЕЛЯ"

Итак, автор.

Вопрос даже о самом общем характере возникновения "Протоколов сионских мудрецов" (далее ПСМ) настолько сложен и мистифицирован, в такой степени погружен в некую столько же искусственную, сколько и беспросветную иррациональность, что в его массивной тени вопрос о конкретной личности автора ПСМ подчас даже не возникает. Или странным образом становится совершенно периферийным. Тогда как казалось, должно было бы проблему указанного возникновения решать именно со стороны той, самой конкретной авторской личности, хотя бы и гипотетической. Тем более, что такая личность существует, то есть именно в виде гипотезы, неоднократно высказанной в самых серьезных исследованиях о ПСМ.

Речь идет о русском литераторе и журналисте Матвее Головинском (?—1920), чье имя определенная исследовательская традиция едва ли не исстари связывает с созданием ПСМ. Так, в соответствии с этой традицией "Краткая Еврейская Энциклопедия" в статье, посвященной ПСМ, утверждает: "Непосредственным составителем ПСМ считается М.Головинский, профессиональный литератор, который по заданию охранки занимался слежкой за русскими эмигрантами в Париже"[1]. Статья эта, в качестве дополнения ("краткой справки"), перепечатана в известной книге израильского исследователя Савелия Дудакова — именно с упоминанием М.Головинского как "составителя ПСМ"[2]. В той же книге, в основном ее тексте, в одном из примечаний говорится об известном русском

журналисте-авантюристе начала века Иване Манасевиче-Мануйлове и затем, несколько мимоходом, сообщается о том, что он, "вместе с М.В.Головинским (сотрудник газеты "Фигаро" в Париже и русский негласный агент) участвовал в составлении "Протоколов Сионских мудрецов" под руководством П.И.Рачковского"[3].

Утверждение об авторстве Головинского восходит единственно к двум свидетельствам начала 1920-х годов — польско-французской писательницы княгини Катажины Ржевуской-Радзивилл и американки Генриэтты Херблат. Та же энциклопедия в той же статье утверждает: "По свидетельствам княгини Радзивилл и Генриэтты Херблат агенты русской политической полиции М.Головинский и И.Манусевич (*sic!*)-Мануйлов (1869–1918; еврей, был крещен в раннем детстве) по заданию руководителя заграничной службы охранки С.(*sic!*)Рачковского (впоследствии вице-директора департамента полиции), готовили в Париже документ, изобличающий еврейский заговор"[4].

Эти свидетельства, впрочем, подвергаются сомнению — как сторонниками подлинности ПСМ, так и некоторыми их непредубежденными исследователями. Среди последних — блестящий итальянский знаток проблемы Чезаре Г. Де Микелис, который, по ряду представленных им обстоятельств, свидетельство княгини Радзивилл относит к числу слишком "подозрительных"[5].

Так как мы прежде всего ставим перед собой цель выявить персонального, коллективного ли автора ПСМ, что, по нашему разумению, необходимо разъяснит характер их происхождения и, возможно, тем самым несколько устранит демоническую, иррациональную ауру вокруг них, то, вопреки скепсису итальянского исследователя, все же обратимся к тому свидетельству княгини Радзивилл, в сущности, единственному во всей истории рецепции ПСМ четкому указанию на их автора.

Итак, в феврале 1921 года, то есть, как раз в пору громогласного евроамериканского дебюта ПСМ, только что переведенных с русского на западные языки, княгиня Катажина Ржевуская-Радзивилл (1858–1941) (литературный псевдоним "граф

Павел Василли") дала интервью "American Hebrew" (вскоре, 1 апреля, перепечатанное "La Tribune juive") по поводу возникновения ПСМ. 15 марта того же года княгиня Радзивилл напечатала в "La Revue mondiale" статью под названием "Протоколы сионских мудрецов", повторившую основные положения того своего интервью.

Ввиду недоступности для нас тех изданий, положения те мы излагаем в интерпретации столько же скептического, сколько и точного пера профессора Чезаре Де Микелиса: княгиня Радзивилл "утверждала, что она лично видела рукопись (т.е. предполагаемый французский оригинал ПСМ — *В.С.*) в Париже, будучи приглашена Матвеем Головинским (?–1920), который был ее составителем вместе с Рачковским и Иваном Манасевичем-Мануйловым (1869–1918); они же, по ее словам, сделали не что иное, как раскопали и переработали предыдущую фальшивку, сфабрикованную в 1884 г., в недрах тех же "служб" (секретных), генералом Оржевским (Orħevskiy) (*sic!*)"[6].

Итак, княгиня Ржевуская-Радзивилл в феврале-марте 1921 г. указала на ПСМ как на полицейскую литературную интригу, которую по заданию главы русского зарубежного политического сыска Рачковского непосредственно провел его предполагаемый агент Матвей Головинский — в сотрудничестве с Иваном Манасевичем-Мануйловым, на некоей литературной же основе, возникшей некогда подобным, то есть полицейским образом.

"Заявления польской княгини, — продолжает итальянский исследователь, — были немедленно подтверждены в интервью ("American Hebrew", 4 марта 1921 г., затем "La Tribune juive", 1 апреля 1921 г.) одной американкой, которая в то же время находилась вместе с ней в Париже, Генриэттой Херблат (Henrietta Hurblutt) (*sic!*)"[7].

В сущности, это свидетельство, по выражению Чезаре Де Микелиса, "этих двух дам" (de ces deux dames) — единственное во всей столь обширной литературе о ПСМ, относящееся к персоне их предполагаемого автора, составителя ли, "компилятора" — Матвея Головинского. И оно сразу же было взято под подозрение. Причем, как указывает Де Микелис, сразу с

двух очень разных мировоззренческих позиций. С одной стороны, Владимир Бурцев, знаменитейший разоблачитель провокаторов царской охранки, крайне левый (разумеется, по эмигрантской политической шкале), — в "La Tribune juif" от 29 апреля 1921 г., заявил, что свидетельству княгини Радзивилл — Генриэтты Херблат "резко противоречит" то обстоятельство, что в указанное ими время "ни Головинского, ни Рачковского не было в Париже; первый оставался там только до 1900 года, а второй до октября 1902..."[8]. Как известно, впоследствии В.Л.Бурцев приложил немало усилий для разоблачения ПСМ как литературной подделки, но, кажется, при этом он никогда не вспоминал имя Головинского. Другой автор, на которого ссылается Де Микелис как на того, кто проблематизировал названное свидетельское показание, политически и интеллектуально представляет собой совершенно иную фигуру. Генерал Александр Нечволодов — едва ли не эмблематический представитель эмигрантской крайне правой, фанатически убежденный в подлинности ПСМ, назвавший утверждения княгини Радзивилл "ложью" — наряду с некоторыми другими попытками определить ПСМ как подделку[9].

Мы здесь не просто добросовестно излагаем коллизии, сложившиеся вокруг свидетельства "тех двух дам", единственного свидетельства, содержащего хотя бы малую долю какой-то информации о персоне, потрудившейся над созданием ПСМ. И не только указываем на своеобразную идеологическую судьбу того свидетельства, немедленно взятого под подозрение — и "слева", и "справа". Мы хотим здесь обратить внимание на чрезвычайную сложность и, возможно, даже бесперспективность, скажем так, биографического метода при исследовании вопроса об авторстве ПСМ.

И дело не только в том, что высокая степень мифологизации и в самом тексте ПСМ и самой читательской рецепции последних — всей своей иррациональной мощью обрушивается на те или иные попытки к чисто рационалистическому истолкованию названного вопроса. Даже на попытки приближения к нему с позиций самого обыкновенного здравого смысла, подчас подсказывающего нам столько же простые, сколько и

убедительные решения, с тем вопросом связанные. Перед нами едва ли не притчевая ситуация, когда явление, претендующее на самую массивную, именно "беспросветную" иррациональность, постоянно уклоняется от всех уровней его рационального понимания.

Но дело также в том, что мифология ПСМ и мифология вокруг них всей своей тяжестью обрушивается среди прочего, решительно на все биографии участников и исполнителей "протокольной" драмы. И вполне известных, — скажем, С.А.Нилуса — и лишь предполагаемых, как в случае с Головинским. Да и на биографию самой информантки того случая.

Чезаре Де Микелис, кажется, единственный исследователь проблемы, представивший краткую, но точную биографическую справку о княгине Ржевуской-Радзивилл, замечает вместе с тем: "авантюристка, осужденная в 1900 году за подделку векселей, названная "кокеткой" в очень серьезном Польском биографическом словаре"[10]. Разумеется, это действительно бросает тень на подлинность свидетельств княгини-"кокетки", но не больше, чем совершенно сходный юридический инцидент в биографии С.А.Нилуса, увы, также в свое время замеченного в такой же проделке и подделке — на подлинность опубликованных им ПСМ.

Исследователь ссылается также на то, что "свидетельству тех дам", по словам В.Л.Бурцева "сильно противоречит тот факт", что в указанное или парижское "свидетельское" время Головинского приходится на 1904 или 1905 годы, тогда как он оставался в Париже "только до 1900 года"[11]. Но есть также сильное, в высшей степени публичное и, некоторым образом, весьма убедительное свидетельство самого Матвея Головинского о том, что он имел в Париже постоянную резиденцию — во время немногим более позднее, чем указанное княгиней Радзивилл. В 1910 г. в Москве выходит сборник полубеллетристических-полуавтобиографических этюдов Головинского — под псевдонимом "Доктор-Фауст" — под названием "Из записной книжки писателя". В примечании ко второму из этих этюдов — "Не хочу жить" — читателей, среди прочего, приглашают вступить в переписку с автором — в

связи с поднятой им темой идейного самоубийства среди молодежи ницшеанского толка: "Пусть пишут доктору Фаусту (Docteur Faust 14 rue Hautefeuille "La maison Jaeques" a Paris)"[12]. Характер этого адреса и само приглашение к переписке такого рода свидетельствуют о едва ли не постоянном пребывании Головинского-Доктора-Фауста в тогдашнем Париже. И, во всяком случае, вполне проблематизируют указанное возражение Бурцева по этому поводу.

Вслед на тем итальянский автор со свойственной ему объективностью рассматривает аргументы эмигрантского генерала-писателя Александра Нечволодова, по словам Де Микелиса, "горячего защитника подлинности ПСМ", аргументы, направленные против другого эмигрантского автора, Александра дю Шайла, как раз усомнившегося в их подлинности, — кстати, — на основании своего давнего знакомства с С.А.Нилусом и представленными последним доказательствами в пользу той подлинности. Не касаясь аргументов ни дю Шайла, ни Нечволодова, обратим внимание именно на объективный тон итальянского исследователя, вслушивающегося в тот русский спор и принимающего в нем скорее сторону Нечволодова, "без сомнения свирепого юдофоба, но не дурака"[13]. Увы, в продолжение темы не столько самих ПСМ, но чрезвычайной проблематичности любых биографическо-персональных сюжетов в их поле, можно вспомнить мемуарную характеристику совершенно иного рода, относящуюся к генералу Нечволодову. Другой русский генерал-писатель, уже советской ориентации, вспоминает самое эксцентрическое поведение тогда еще полковника Нечволодова во время русско-японской войны, в разгар боев под Ляояном пытавшегося самолично заключить перемирие с японцами. Впоследствии главнокомандующий Куропаткин, узнав о том, что Нечволодов произведен в генералы, начертал на одной из бумаг новоиспеченного генерала: "Нач. Штаба. Прошу доложить. Как же это так? Мы же считали его под Ляояном сумасшедшим..."[14]. Впрочем, есть другие, не менее красочные характеристики, скажем так, психологического и другого своеобразия генерала Нечволодова...

Мы здесь, впрочем, нисколько не оспариваем авторов, оспаривающих свидетельства княгини Радзивилл — Генриэтты Херблат. Так же, как и не выражаем какой-либо уверенности в подлинности тех свидетельств. Мы всего лишь обращаем внимание именно на бесперспективность биографического метода в его применении к вопросу о “протокольном” авторе. В самом деле, любое, чисто биографическое уточнение названных свидетельств, как мы убеждены, немедленно наталкивается на биографические же указания совершенно противоположного свойства, в той или иной информационной степени их дезавуирующие.

Очевидно, мы здесь сталкиваемся не только с партийными страстями вокруг ПСМ, но и с фундаментальными изъянами самого биографического метода, — по крайней мере, в области литературоведения. “В литературном факте, — говорил некогда В.Ф.Переверзев, — наименее интересным моментом я считаю его связь с авторской личностью”.[15] Но так как по отношению к ПСМ связь их с соответствующей исторической правде “авторской личностью” приобретает едва ли не исключительно важное значение, постараемся всё же выявить эту “личность”, но уже иными эвристическими средствами, весьма отличными от чисто биографических разысканий, средствами, лишь косвенно связанными с биографическим методом.

Собственно, именно такой путь предлагает и пролагает Чезаре Г. Де Микелис в своей замечательной микромонографии, посвященной, согласно ее подзаголовку, “филологии и истории” ПСМ, путь преимущественно текстологический, удаленный от чисто идеологических их интерпретаций. Сославшись на совершенно справедливые слова Пьера-Андре Тагиева, “одного из лучших современных специалистов по изучению ПСМ”, о необходимости “задать себе вопрос об этой неуязвимости мифической конструкции для рациональной критики”, итальянский исследователь видит методологический выход из иррациональных лабиринтов вокруг проблемы ПСМ именно в текстологическом их анализе: “Поскольку эта история обросла ложью и фальшью, то свое внимание мы

направим на то единственное, что "не может лгать", на сам текст, как таковой"[16].

Последуем этому здравому методологическому совету, отодвинув в сторону вышеизложенные биографические спекуляции, но при этом, в отличие от итальянского автора, сосредоточим свое внимание не столько на внутренней структуре "протокольных" текстов, сколько на выявлении их резонансов, перекличек, параллелей — то, что "не может лгать" — в сумме других текстов. ***Текстов, бесспорно принадлежащих перу Матвея Головинского***, чье имя упоминается в связи с создание ПСМ. Чье возможное авторство, как видим, едва ли не мимоходом утверждается и столь же мимоходом опровергается — на достаточно зыбкой в обоих случаях биографической почве. Собственно на некоем свидетельском песке строится указание княгини Радзивилл — Генриэтты Херблат, но примерно там же воздвигаются и его опровержения.

И вот вместо того и другого — весьма скромный корпус доступных нашему вниманию текстов Матвея Васильевича Головинского, насколько нам известно никогда не привлекавшийся для рассмотрения по интересующему нас поводу (впрочем, он, похоже, вообще не был удостоен современниками какого бы то ни было внимания, хотя бы элементарных рецензентских откликов, нами в тогдашней печати, увы, не обнаруженных).

Итак, "корпус" этот составляет своего рода беллетристическо-публицистическую "тетралогию", состоящую именно из доступных нам четырех изданий, очень разных по своему жанру и по своей идеологической направленности, но объединенную, скажем так, стилистическим темпераментом автора. Перечислим их в хронологической последовательности их написания, начиная с издания, нами уже упоминавшегося.

1. Доктор-Фауст. Из записной книжки писателя. Издание М.М.Левина. Москва. 1910 год. 163 с.

2. Доктор Фауст (М.В. Головинский). Опыт критики буржуазной морали. Перевод с французского А. Карелина. С предисловием автора". М., 1919. Издание зарегистрировано и

цена утверждена отделом печати М.С.Р. и К.Д. Типография Н.Н.Желудковой. Большая Якиманка, 32, 32 с. (французский оригинал, выпущенный в Париже в 1910 г., нами не был обнаружен).

3. Черная книга германских зверств. Под редакцией и со вступительной статьею д-ра М.В. Головинского. 9-ая тысяча. Цена 60 коп. С.-Петербург. 1914. 56 с.

4. Д-р М. Головинский. Беседа дедушки о болезни "сыпной тиф". Цена 40 коп. Издание комитета памяти В.М.Бонч-Бруевич (Величкиной). Общедоступная библиотека. Кн. 8-ая. Адрес Комитета, Редакции, Издательства и книжного склада: Москва. Земляной вал, Гороховская ул., д.20. 7 с.

Итак, покамест отодвинув в сторону какие-либо биографические коллизии представленного здесь автора, будем исходить из старинной интуиции некоего априорного единства любой авторской личности, а также интуиции хотя бы относительно семантического и стилистического единства текстов, этой личности принадлежащих. И соответственно представим названные здесь четыре издания именно как некую, условно говоря, "тетралогию", отмеченную таким сквозным единством, системой определенных смысловых и стилевых "лейтмотивов".

Названная литературная сумма Головинского-Доктора-Фауста — это, в общем, довольно заурядная беллетристика и столь же ординарная публицистика. И то и другое стилистически оформлено главным образом в виде газетного фельетона, тогдашнего "подвала" (весьма возможно, что оттуда в отдельные издания и пришло большинство представленных в них текстов).

Вместе с тем "тетралогию" Головинского отмечает немалая авторская амбициозность в виде непрестанного стремления газетного фельетониста к созданию в своих "психограммах" и "набросках" (именно так автор и означает свои основные жанры) целостного портрета всей современной цивилизации да и всей остальной человеческой истории — портрет, преимущественно скептический и даже пессимистический. "Тетралогия" — самый скептический взгляд на современные общества, на все их ценности и институты, на самое историю

их возникновения, на их возможное будущее. При этом такая всеобъемлющая критика предстает у Головинского именно в предельно облегченных, сугубо газетных жанрах, в режиме самого крайнего беллетристического упрощения и просто вульгаризации.

Словом, перед нами литературно вполне заурядный продукт, если вспомнить выражение Германа Гессе, "фельетонной эры" той ее поры, эпохи возникновения и бурного становления массовых, уже действительно в больших числах крупнотиражных периодических изданий.

Но что на самом деле бьет в глаза в "тетралогии" Головинского, так это идеологическая разнонаправленность и, пожалуй, даже разномастность всех ее составных.

Так, "Из записной книжки писателя" — это, по своей литературно-мировоззренческой тональности, сочетание некоей подчеркнуто пессимистической интонации с усредненно-гуманистической, общелиберальной и, временами, даже леволиберальной.

"Опыт критики буржуазной морали" — это уже самый леворадикальный публицистический набросок к проблеме той морали, левоэкстремистская ее критика анархического свойства.

"Черная Книга германских зверств" — самое "черное" по своей реакционно-консервативно-шовинистической направленности собрание соответствующего повсеместной ксенофобии–1914 пропагандистского материала, те "зверства" изобличающего.

"Беседа дедушки о болезни "сыпной тиф" интересна не столько неожиданным обращением автора "доктора Головинского", бывшего, оказывается, профессиональным медиком, от его прежних наблюдений над массовыми идеологическими и моральными эпидемиями к эпидемии в собственном клиническом смысле. Эта брошюра по обстоятельствам самого своего появления, исчерпывающе зафиксированным в ее выходных данных, убедительно свидетельствует об издательском и другом "флирте" автора с уже находящимся при власти большевизмом, с его самыми видными сановниками (В.Д.Бонч-Бруевичем и его супругой В.М.Бонч-Бруевич-Величкиной).

Итак, стрелка идеологического компаса писателя Головинского с удивительной легкостью и скоростью поворачивается в самые разные идеологические стороны — от очевидной зависимости от той или ной общественной ли, политической, другой ли конъюнктуры, каковую должно выяснить именно его биографу, буде таковой найдется. Но мы здесь ставим перед собой совершенно иную, внебиографическую цель, средства к достижению которой столь отчетливо-методологически указаны выше итальянским исследователем ПСМ: так как в комплексе их проблем "текст в своем объективном семиотическом бытии" — "то единственное, что "не может лгать", ***то именно в связи с теми проблемами и сосредоточим наше исследовательское внимание единственно на самих текстах Головинского "как таковых".*** Исходя из предполагаемого единства любой авторской личности, из необходимого и неизбежного повторения в ее литературной продукции неких постоянных — стилистических и семантических — "составляющих", возможно — именно не биографически, а чисто "текстологически" — выявить в ПСМ те элементы их слога и содержания, которые и указывают на ту личность. В ее не столько индивидуально-биографической, сколько индивидуально-литературной конкретности. Разумеется, это возможно лишь при сличении — и весьма тщательном — текста ПСМ с другими текстами. В данном случае, с текстами Головинского, некогда едва ли не мимолетно названного главным автором-исполнителем ПСМ и даже едва ли не столь же мимоходом вычеркнутого — из неизвестного числа их неизвестных авторов. Вместо хронологических и других состязаний и просто пререканий тех мимолетных биографов Головинского, ***всего лишь вглядимся в его тексты на текстовом же фоне ПСМ***, и, разумеется обратно.

С этой точки зрения особый интерес представляет издание "Из записных книжек писателя" (далее — ИЗКП), хронологически открывающее доступный нам корпус текстов Головинского. Достаточно пестрое по своему жанровому и семантическому составу, оно вместе с тем выполнено преимущественно в виде газетных очерков-фельетонов — на материале ме-

муарно-автобиографического, общеисторического, общепсихологического и другого характера. Автор в них ставит перед собой цель именно портретирования современной цивилизации, ее прошлого и ее гипотетического будущего — в читательски облегченной газетно-публицистической форме, почти всегда с элементами беллетристики, несколько оживляющей тот газетный рассказ.

ИЗКП состоит из трех разделов ("Психограммы", "Наброски", "Из дальних лет. Воспоминания студенчества"), группирующих те очерки-фельетоны по некоторым жанровым признакам, впрочем, довольно ослабленным.

Так, "Психограммы" — это пять как бы "психологических" этюдов, воспроизводящих душевное состояние героев в тех или иных пограничных ситуациях ("Беспокойный сосед", "Не хочу жить", "Почему она меня не любит?", "Ненавижу!", "Пять шагов в длину — два с половиной в ширину..."). "Беспокойный сосед" — весьма короткий рассказ о ребенке, умирающем за стеной комнаты рассказчика, который тем временем, той ночью, предается размышлениям общего свойства об истории страдающего человечества как о смене одна за другой нескольких формаций тех несчастий. Нелишне указать, что вся та история изложена как бы в газетном сокращении — на одной печатной странице. "Не хочу жить (отрывок из письма самоубийцы)" — также новеллистическая миниатюра, но уже в виде предсмертного письма молодого ницшеанца, изведавшего в своем эротическом опыте всю полноту бытия и в виду обретенного в том опыте сверхчеловеческого величия оставляющего эту жизнь.

"Почему она меня не любит?" представляет собой столь же лаконичный рассказ о травме сознания — и детского, и материнско-супружеского — наталкивающегося на холодный, расчетливый, так сказать, "подпольный" эгоизм человека, появившегося в доме после смерти там отца и мужа.

Последняя "психограмма" — "Пять шагов в длину — два с половиной в ширину..." — представляет собой короткий психолого-социологический этюд о пролетарии, становящемся люмпен-пролетарием и, очевидно, совершающем затем преступление — на почве своей безысходной участи.

Следующая группа очерков — "Наброски" — и по жанру, и по интонации не слишком отличающаяся от "Психограмм".

"Острою секирой ранена береза" — "психология" участи дерева, превращенного из собственно дерева в телеграфный столб.

"Подвиг Абрамыча" — рассказ о страданиях ремесленника, убивающего своего молоденького деревенского земляка по его же просьбе, чтобы освободить того от беспросветной жизни. И, совершенно неожиданно для себя, оправданного судом — усилиями адвокатов и присяжных.

"Ожидание" ("Посвящается памяти погибшего товарища") — зарисовка драмы молодого революционера, приехавшего к деревенской матери, и на ее глазах, после полицейского стука в дверь, покончившего с собой.

"Поп и мышь" — этюд об обращении деревенского же священника в сторону самого радикального христианства, о его уходе из казенной церкви и затем смерти.

И, наконец, третья группа текстов в книге — "Из дальних лет (Воспоминания студенчества)", подчеркнуто мемуарная, посвященная студенчеству автора и коллизиям тех лет. Психологическим и мировоззренческим, по преимуществу.

Итак, книга Головинского состоит их ***двадцати четырех*** этюдов —"психограмм", "набросков" и "воспоминаний". С претензией едва ли не в каждом из них на создание если уж не целостного образа цивилизации, то по крайней мере, на воспроизведение той или иной доминантной ее черты, характеристики, направленности. То есть это странно, но достаточно очевидно, корреспондирует с ***двадцатью четырьмя*** "сионскими" "протоколами", каждый из которых непременно представляет собой кризисный, даже эсхатологический, но именно с претензией на целостность, портрет той или иной основоположности современной цивилизации. Книга Головинского как бы резонирует в своих, преимущественно критических обобщениях главными структурными принципами "протокольной" семантики, также резко критически обобщающей современность — в направлении самых главных, стратегических ее черт.

Разумеется, такое совпадение можно истолковать как совершенно внешнее сходство, вызванное неприятием современного общества со стороны ультрареакционного автора ПСМ, с одной стороны, и автора ИЗКП, заурядного в ней либерала, с долей некоего расплывчатого радикализма.

Но перейдем, наконец, от общей структуры текстов к тому, что "не может лгать", к самому тексту. К первому же этюду из двадцати четырех в книге Головинского. Воспроизводим его полностью.

БЕСПОКОЙНЫЙ СОСЕД

В маленькой комнате душно и тесно. Тесно — пока мысль не раздвинет стен.

Но и думать нельзя. Рядом — беспокойный, несносный сосед. Он все плачет, плачет день и ночь. Что там за люди?

Слышно только ребенка.

Он плачет уже всю неделю. Не дает работать, не дает думать.

"Стон несется из подвала, стон несется из дворца — стону нет нигде конца, стону нет нигде конца" вспоминается откуда-то стих неведомого автора.

Читать?.. И читать трудно.

Ночь, холодно — не уйти от плача, не уйти от стона... в жизни.

Несносный — когда же он умолкнет?

Стону нет нигде конца — люди бегут от стона — а не уйти.

Давно уж бегут...

Голубое небо, яркое солнце, море сверкает...

Счастливые люди, счастливая страна, счастливые времена...

Счастие в любви к отечеству. Нет счастия выше смерти за эту дивную родину.

И вот идут они, вместе с Леонидом, и гибнут все триста.

И стонут матери, и девы, и нежные супруги.

Почему счастие этих людей в смерти?

Разве счастие не в жизни?

Не ушли и прекрасные эллины от стона, не спаслись от плача.

Смерть торжествует над их любовью.

Мир их праху.

Новые люди идут на смену. Идут с отрицанием красоты, требуют жертвы...

Жертвы, увы! не для жизни.

Эти люди идут за Ним — героев сменили мученики.

Их любовь торжествует над жизнью ради того, что выше жизни.

Выше жизни — но разве счастие не в жизни?

Смерть опять торжествует над любовью.

И люди продолжают искать счастия.

Новых три слова пишут они своей кровию и стонут...

"Как лес под властью непогоды,
Пред силой клонятся народы,
Но втайне — ждут ее конца".

Что же придет на смену силе? Счастье для жизни, любовь, торжество любви?

Надрываясь плачет за перегородкой сосед...

Белеет утро.

Как крепок был сон! Все тихо.

Странно! Сон уже кончился — а тихо.

Над неподвижным телом ребенка склонилась мать — но она и плакать не может... Беспокойный сосед умолк.

Да — жаль, он умолк.

Итак, перед нами своего рода эталон основного жанра Головинского, жанра, направленного на воссоздание стратегий цивилизации, но, разумеется, на воссоздание в весьма упрощенных формах, скажем так, газетной, едва ли не бульварной культурологии.

Первая "психограмма" в книге Доктора-Фауста литературно представляет собой, как уже говорилось, сочетание новеллы о плачущем и затем умирающем ребенке за стеной каморки героя с пессимистическим историософским примитивом, полуторастраничной миниатюрой, "охватывающей", тем не менее, всю историю страданий человеческих — от древних времен до современности. Собственно, от античности до французской революции и ее злободневных следствий...

Очевидно "формальное" сходство этой "психограммы" с некоторыми "мениппеями" Достоевского, прежде всего со "Сном смешного человека", где герой, погруженный в "вечные вопросы", вместе с тем слышит в своей убогой комнате доносящиеся из-за стены голоса и крики тех, кто озабочен совсем другим. Герой "мениппеи" Доктора-Фауста, слушая в той же ситуации плач больного ребенка, мысленно набрасывает как бы общеисторическую ретроспективу человеческого "стона", сначала отдаленно — а затем и не очень — напоминающую общеисторический же пейзаж "Протоколов".

Смерть — последняя, самая важная казуальность "протокольного" мира: "Смерть есть неизбежный конец для всякого" ("Протокол № 15-й", с. 106). Соответственно она является главным орудием планетарной "сионской" интриги: "Лучше этот конец приблизить к тем, кто мешает нашему делу, чем к нашим, к нам, создателям этого дела" (там же, с. 106).

Та же казуальность предстает и в доктрине Доктора-Фауста. Идиллию древних счастливых времен прерывает "смерть за эту дивную родину", смерть ее "счастливых людей": "И вот идут они, вместе с Леонидом, и гибнут все триста".

Итак, "не ушли и прекрасные эллины от стона, не спаслись от плача.

Смерть торжествует над их любовью".

"Счастливые времена" в первой "психограмме" ИЗКП перекликаются с пассажем из первого же "протокола": "Еще в древние времена мы среди народа впервые крикнули слова "свобода, равенство, братство" ("Протокол № 1-й"с. 62; более ранний вариант: "Во времена величия Греции мы впервые крикнули слово свобода"). Провокация "мудрецов" приводит к катастрофе того "величия", точно так же смерть торжествует над "головинской" античной идиллией.

В том же "протоколе" предстает также катастрофическая картина уже Нового времени с его превращением "абстракции свободы" в деспотизм самой брутальной "силы", прячущейся за политическими декорациями в виде риторики о "свободе, равенстве, братстве".

В "психограмме" Доктора-Фауста после гибели античности возникает поначалу отрицающее ее христианство:

"Новые люди идут на смену. Идут с отрицанием красоты, требуют жертвы...

Жертвы, увы! не для жизни".

В "Протоколах" "жертвы" — это, прежде всего, специфическое производное от интриг "мудрецов" против "гоев", оттого для последних они — бесполезны: "Насколько же были прозорливы наши древние мудрецы, когда говорили, что для достижения серьезной цели не следует останавливаться перед средствами и считать число жертв, приносимых ради этой цели... Мы не считаем жертв из числа семени скота — гоев..." ("Протокол № 15-й"; с. 106).

В "психограмме", в самой пессимистической тональности, говорится, в сущности, о той же бесполезности христианской жертвы — для самих жертвователей:

"Эти люди идут за Ним — героев сменили мученики.

Их любовь торжествует над жизнью ради того, что выше жизни.

Выше жизни — но разве счастие не в жизни?

Смерть опять торжествует над любовью".

В "Протоколах" категория "мученичества" "за общее благо" и вовсе предстает — в своей исторически последней форме революционного подвига — как следствие соответствующих "сионских" интриг, с одной стороны, и общего неразумия "гоев", с другой: "... через прессу и в речах, косвенно, — в умно составленных учебниках истории, мы рекламировали мученичество, якобы принятое крамольниками на себя, за идею общего блага. Эта реклама увеличила контингент либералов и поставила тысячи гоев в ряды нашего живого инвентаря" ("Протокол № 19-й", с. 119).

В названной "психограмме" катастрофу христианской жертвы продолжает крах новоевропейских упований на "свободу, равенство, братство":

"И люди продолжают искать счастия.

Новых три слова пишут они своей кровию и стонут..."

Доктор-Фауст завершает свой весьма пессимистический экскурс в историю, в которой упомянутая "триада" преломи-

лась во всевластие "силы", лаконичной картиной кризиса и возможного конца этой "силы" — для совсем уж безотрадного будущего, на каковое намекает смерть ребенка за стеной.

"Как лес под властью непогоды,
Пред силой клонятся народы,
Но втайне — ждут ее конца".

Что же придет на смену силе? Счастье для жизни, любовь, торжество любви?

Надрываясь плачет за перегородкой сосед...

Белеет утро.

Как крепок был сон! Все тихо.

Странно! Сон уже кончился — а тихо.

Над неподвижным телом ребенка склонилась мать, — но она и плакать не может... Беспокойный сосед умолк.

Да — жаль, он умолк".

В "Протоколах" же крушение новоевропейской "силы", притворившейся, в соответствии со стратегическим сценарием "мудрецов", "свободой, равенством, братством", означает начало их уже откровенного господства, сочетающегося также с некоей совсем демонической грядущей конспирацией грядущего деспотизма.

Теперь обратим внимание на следующее сходство двух текстов:

"Наша власть будет вершителем порядка, в котором и заключается всё ***счастье*** людей. Ореол этой ***власти*** внушит мистическое ***поклонение*** и благоговение перед ней народов. Истинная ***сила*** не поступается никаким правам, даже Божественным..." ("Протокол № 22-й", с. 130).

А теперь еще раз напомним "развязку" названной "психограммы":

Крушение средневековья. Но — "... люди продолжают искать ***счастия.***

Новых три слова пишут они своей кровию и стонут...

"Как лес под ***властью*** непогоды,
Пред силой ***клонятся*** народы,
Но втайне — ждут ее конца".

Что же придет на смену ***силе***? ***Счастье*** для жизни?..

Надрываясь плачет за перегородкой сосед..." и т.д.

Напоминаем, что "психограмма" — медицинско-психологический термин, встречающийся на рубеже веков (см. наследие киевского профессора-психиатра Ивана Сикорского, известного консерватора), но, возможно, у Доктора-Фауста он также связан с категорией "психологического момента" ("Протокол № 12-й", с. 98) и "текущего момента" ("Протокол № 24-й", с. 132) как опорных точек самой временной техники "мудрецов". Последние в ***последнем*** своем "протоколе" заканчивают тем, чем заканчивается ***первая*** "психограмма" указанного автора: открытое господство будущего будет осуществляться в режиме некоей прикровенной тайны этого господства. В "психограмме" — бесспорно смертоносной.

Итак, уже первый очерк книги Доктора-Фауста явно резонирует основоположными сюжетами и мотивами "протоколов", представляя собой их своеобразно превращенную стилевую и идеологическую инерцию, от, среди прочего, общих реминисценций и аллюзий из Достоевского (см. ниже) до совершенно сходных общемировоззренческих мотивов... "Беспокойный сосед" в своей историософской части как бы резюмирует общую историческую ретроспективу ПСМ, представленную там как нескончаемый и теперь уже близкий к окончательному завершению декаданс средиземноморско-христианского мира от его древности до современности. В этой части очерка, в сущности, каждая лексема, каждая его семантическая доля находит тот или иной отклик в ПСМ, представляющие собой как бы развернутое и расширенное соответствие "Беспокойному соседу".

В виду всей сложности вопроса о предполагаемом французском оригинале ПСМ и об их столь же гипотетических русских переводах мы не решаемся говорить о чисто лингвистической стороне вышеприведенных параллелей между теми текстами и рассматриваемой прозой Головинского. Полагаем, что здесь достаточно и явного семантического сходства, нами замеченного. Тем не менее последнее нередко предстает уже как очевидное чисто "филологическое" совпадение.

"Протокол № 1-й" так определяет генезис и последующее развитие права:

"Что сдерживало хищных животных, которых зовут людьми? Что ими руководило до сего времени?

В начале общественного строя они подчинились ***грубой и слепой силе***, потом — закону, который есть та же ***сила***, только замаскированная. Вывожу заключение, что по закону естества право — ***в силе***". ("Протокол № 1-й", с. 58).

Спустя немногим более страницы в том же "протоколе": "Наше право — ***в силе***. Слово "право" есть отвлеченная и ничем недоказанная мысль. Слово это означает не более, как: дайте мне то, чего я хочу, чтобы я тем самым получил доказательство, что я сильнее вас.

Где начинается право? Где оно ***кончается?"*** ("Протокол № 1-й", с. 59).

Таким образом, право для "протокольного" автора — как бы юридический псевдоним "силы", единственной общественной реальности.

В "Беспокойном соседе" предстает совершенно та же мысль, но предельно "сокращенная", да еще замаскированная стихотворной цитатой. Новое время здесь преломляет христианство в триаду французской революции, всего лишь камуфлирующую ту же "силу".

"И люди продолжают искать ***счастия.***

Новых три слова пишут они своей кровию и стонут...

"Как лес под ***властью*** непогоды,

Пред силой ***клонятся*** народы,

Но втайне — ждут ее конца".

Что же придет на смену ***силе***?"

Согласно ПСМ на смену убывающей "силе" "гоев" придет — другая "сила". "Беспокойный сосед" вполне сохраняет эту ключевую идеологему ПСМ, но только излагает ее — именно в сокращении.

Как уже говорилось, в соответствии с наблюдениями Чезаре Де Микелиса, в "крушевановском" варианте самого первого "протокола" встречаем: "Во времена величия Греции мы впервые крикнули слово свобода", тогда как в принятом нами

в качестве "канонического" тексте: "Еще в ***древние времена*** мы среди народа крикнули слова: "***свобода, равенство, братство*". (Протокол № 1-й", с. 62).

В "Беспокойном соседе" ретроспектива главных человеческих упований начинается — в той же Греции, в эпоху ее величия. И, примерно, в том же стилевом режиме:

"...люди бегут от стона — а не уйти.

Давно уж бегут...

Голубое небо, яркое солнце, море сверкает...

Счастливые люди, счастливая страна, счастливые ***времена***...

Счастие в любви к отечеству. Нет счастия выше смерти за эту дивную родину".

Очень близко от тех первых упований последующие, столь критически оцениваемые в ПСМ — в "Беспокойном соседе" (снова вспомним):

"...люди продолжают искать счастия.

Новых ***три слова*** пишут они своей кровию и стонут"...

"***Беспокойный*** сосед" здесь коррелирует также с образом грядущих "сионских" "благодеяний ***покоя***, хотя и вынужденного ***веками волнений***" ("Протокол № 19-й", с. 101), с образом "бесполезных перемен правлений", сопутствующих им "пережитых ***волнений и невзгод***" (Там же, с. 101).

Утопический энтузиазм "народов" в изображении "Беспокойного соседа" — "Новые люди идут на смену. Идут... требуют жертвы... Эти люди идут за Ним" и т.д. — отозвались в двух "мизансценах" мировой истории в ПСМ.

"Во всех концах мира слова — "свобода, равенство, братство" — становили в наши ряды через наших слепых агентов целые легионы, которые с восторгом несли наши знамена". ("Протокол № 1-й, с. 63).

"И люди продолжают искать ***счастия*"**.

Ср. снова:

"***Новых три слова*** пишут они своею кровию и стонут".

"... ошибки гоевских правлений, столько веков промучивших человечество отсутствием сообразительности во всем, что касается истинного его блага, в погоне за фантастическими проектами социальных благ, не замечая, что эти проекты все

более ухудшали, а не улучшали положение всеобщих отношений, на которых основывается человеческая жизнь"... ("Протокол № 14-й", с. 102).

Предполагается, что "ошибки гоевских администраций будут описываться нами в самых ***ярких*** красках". ("Протокол № 14-й", с. 101).

Соответствующий эпитет вспыхивает в "***ярком*** солнце" "Беспокойного соседа", в котором также предстает мировой парад тех "ошибок".

В ПСМ многократно повторяется столь лаконично изложенный в "Беспокойном соседе" мотив тщетных поисков счастья на утопической основе — и тем поискам, составляющим собственно всю предшествующую историю, противопоставляется уже близ грядущее, устроенное "мудрецами" счастье.

"Наша власть будет славною, потому что она будет могущественна, будет править и руководить, а не плестись за лидерами и ораторами, выкрикивающими безумные слова, которые они называют великими принципами и которые ни что иное, говоря по совести, как утопия... Наша власть будет вершителем порядка, в котором и заключается все счастье людей" ("Протокол № 22-й", с. 130).

В "Беспокойном соседе" обобщенный образ христианского энтузиазма — "Новые люди идут на смену... Эти люди идут за Ним — героев сменили ***мученики***" — не только повторяют "протокольный" образ псевдовласти и массы, "плетущихся" "за лидерами и ораторами" с их "утопическими" "великими принципами", но и резонирует категорией напрасных жертв, тщетного и бесплодного "мученичества", категорией, одной из центральных в семантической системе ПСМ:

"подлость человеческих народов, ползающих перед силой... терпеливых до ***мученичества*** перед насилием смелого деспотизма". ("Протокол № 3й", с. 70).

"Мудрецы" о стратегической необходимости "беспрестанно мутить во всех странах народные отношения и правительства, чтобы переутомить всех разладом, враждою, борьбою, ненавистью и даже ***мученичеством***..." ("Протокол № 10-й", с. 91).

"Мудрецы" для своих целей "в умно составленных учебниках истории" "рекламировали ***мученичество***, якобы принятое крамольниками на себя, за идею общего блага". ("Протокол № 19-й", с. 119).

Таким образом, названная "психограмма" в книге Головинского содержит текстовую миниатюру — общеисторической "программы" ПСМ, их также скептическую историософскую ретроспективу антично-христианской цивилизации как серии неких стратегических "ошибок" в очевидную пользу "мудрецов". Только последних в "Беспокойном соседе" функционально замещает смерть, сопутствующее ей страдание ("стон"). Перед нами — ***наикратчайшая аннотация ПСМ.***

И все же в книге Головинского, в ее разделе "Из дальних лет (Воспоминания студенчества)", мы наталкиваемся на текст, по своей фабуле и семантике еще более перекликающимся с идеологическим составом ПСМ. Текст под подчеркнуто "визионерским", "провидческим" названием "Видение", характерно открывающий тот раздел. В свою очередь открывающийся эпиграфом из Ф.М.Достоевского, что, наверное, должно было подчеркнуть, подобно аллюзиям, связанным со "Сном смешного человека" в "Беспокойном соседе", притчево-мировоззренческий характер этой другой "мениппеи" Головинского-Доктора-Фауста.

Текст этот состоит, собственно, из двух частей. В первой из них излагаются обстоятельства, в виде одного резкого идеологического конфликта в студенческом кружке, обстоятельства и определившие возникновение части второй, текста в тексте, основанного на некоем фантастическом допущении. Эта фантазия Головинского настолько любопытна в контексте решаемых нами вопросов, что заслуживает воспроизведения — в составе всей мемуарной (или псевдомемуарной) новеллы. Итак, "Видение", первый из опусов третьего и последнего раздела книги Головинского-Доктора-Фауста.

ВИДЕНИЕ

> "Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец?
>
> Все мертво и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля!"
>
> *Ф.Достоевский*

Иван Зорин умирал.

Он сильно страдал умирая: тяжело умирать молодым.

Несколько человек товарищей студентов, в числе которых был и я, безмолвно и осторожно передвигались по комнате, в полу-сумерках туманного раннего утра.

Болезнь Зорина — последствие роковой случайности, и быстрое его угасание не по дням, а по часам, когда человек как весенний снег тает — все это произвело на наш товарищеский кружок удручающее впечатление.

Еще несколько недель тому назад, в этой самой комнате, чуть не до рассвета шел бурный спор.

Зорин, как это часто бывает с людьми сильно и глубоко убежденными, был плохим защитником своей "платформы", своих основных положений — ему ведь казалось в этих положениях все ясным и не подлежащим возражению, да кроме того, Зорин не обладал ораторским талантом.

Со всей язвительностью будущего "украшения" адвокатской трибуны ему возражал студент юрист А., легкомысленный и беспринципный, "скользкий" юноша, которого долгое время не хотели допустить в "кружок", но который все-таки и сюда проник, как впоследствии, всюду и всегда проникал.

Зорин кричал, а его оппонент весьма спокойно его высмеивал, как бы играя словами, и, порой, вставляя иностранные выражения.

Наконец, когда на одну уже слишком высокую нотку Зорина г. А. элегантно заявил: "*parler bien fort — n'est pas parler fort bien*", Зорин не вытерпел, схватил в руки шапку, по-

мужицки бросил ее об пол, затем опять поднял и выбежал вон, раздетый, на мороз в одной кумачевой рубахе...

Кто-то из товарищей пошел за ним лишь через четверть часа и нашел его на сугробе, лицом в снег. Весь мокрый от растаявшего кругом снега, он, рыдая, дрожал.

Как всякая сильная натура Зорин не мог подчиниться тому, во что не верил, и отказаться от того, во что скорей верил, чем окончательно усвоил разумом; особый вид "искусства для искусства" г. А., аргументация для аргументации, слишком больно звучал в его душе.

....

Через три недели Зорин кашлял кровью, затем слег в постель, и теперь умирал.

Устав от бесцельных передвижений по комнате, я опустился в единственное кресло около окна и стал перебирать всякие бумаги на подоконнике.

Среди разбросанных листков лекций здесь лежала небольшая тетрадка.

Странное заглавие невольно заставило меня взять ее в руки.

Заглавие было почти вырисовано Зориным на корешке, а затем, чрезвычайно отчетливо, его же твердым почерком были написаны и последующие строки.

Я прочел:

СИГНАЛЫ С МАРСА

Сказка о будущем человечества и Земли

Много, много веков в бесконечном движении вращалась Земля, постепенно холодея и тускнея. Солнце уходило, унося с собой и свет и тепло, и люди постепенно погружались во мрак холодных сумерек.

Но еще раньше ухода Солнца радость жизни оставила людей.

Темной волной двинулись народы востока и поглотили старую культуру европейцев.

Эти новые для Европы, но бесконечно старые для мира народы не имели представления о личном счастье, свободе и

братской любви... Они даже не знали, что такое “нравственность”, и на их языке это понятие переводилось словом “порядок”.

Им было чуждо и слово “разум”: они переводили его словом “повиновение”.

И эти народы водворили повсюду повиновение и порядок, на началах ненависти и подчинения, подрезав все те человеческие головы, которые, как высокие колосья, подымались над толпой.

Низвергнув старую культуру, новые европейцы сохранили, однако, все технические усовершенствования производства, практическую полезность которых они уже успели изведать...

Уничтожив просвещение всех, эти народы тщательно сохранили науку немногих.

И эта далекая от всех наука продолжала быстро идти вперед; облегченная от груза совести она пошла вперед еще быстрее.

Люди, копошась в холодном полумраке, голодали и умирали, — а наука, дав множество технических открытий, окончательно поработивших человечество, установила отчетливые способы сношений с окружающими мирами и порой устрашала толпу непонятным ей сигналами.

Земля, между тем, холодела и тускнела: светом электричества не удалось заменить света Солнца и даже ученые и правители стали впадать в уныние.

Нежданно — радостная весть в мгновение облетела всех: обитатели одного из миров сообщили, что свет и тепло должны возвратиться на землю и что сигналы последуют с Марса. Слух об этом так потряс человечество, что даже господа не были в состоянии выгнать в эти дни свой скот и рабов на работу, и весь народ, все человечество поспешило на возвышенности и на обширные пустынные пространства земли, образовавшиеся вследствие вымирания и самоубийства целых городов и селений.

Все человечество устремило взоры на Небо.

Но свинцовое Небо молчало.

Прошли часы, дни, месяцы и годы.

Небо продолжало молчать, Земля — холодеть и тускнеть, а человечество — жить надеждой...

Несмотря на самый строгий порядок, работали уже немногие...

Страх перестал действовать на людей, не хотевших жить.

Последние оставшиеся рабы, передвигаясь при свете громадных фонарей по холодной пустыне, быстро погибали и новые уже не приходили им на смену.

И скоро смерть сравняла всех, и одичалые и одинокие люди, обезумев, бродили по потемневшему кладбищу — Земле.

Но и у этих одиноких дикарей еще таилась, по преданию, в душе надежда и они продолжали смотреть на безмолвное, мрачное Небо.

Внезапно это мертвое небо засверкало от мелькающих огней — звенящих сигналов с Марса.

Багряным румянцем загорелся восток и показалось восходящее Солнце.

Восходящее Солнце, от которого уже давно отвыкло человечество...

И свет и тепло и радость жизни вернулись на Землю, засверкавшую вновь красотой и молодостью.

Сбылось предсказание ученых, но для нового человечества — старое уже перестало существовать: последние его представители не были в силах пережить своего счастия.

....

"Кажется — конец. Пойдем к нему поближе", тронув меня за плечо, сказал мне товарищ.

Мы все окружили кровать Зорина.

Полумрак в комнате как будто стал еще гуще, может быть, вследствие столпившихся около кровати фигур.

Задыхаясь, с кровавой пеной на губах, Зорин пытался подняться и что-то сказать.

"Сигнал, сигнал" послышалось мне.

Голова Зорина опрокинулась на подушку и он умолк.

Мы опустились на колени.

Торжествующий луч солнца, прорезав туман сырого утра, ворвался в комнату.

Поздно! Зорин его не увидел...

Анализ вышеприведенного текста — именно в направлении решаемой нами проблемы — начнем со следующего замечания. Еврейская тема в книге Головинского, при всей фельетонной пестроте ее содержания, напрочь, совершенно отсутствует. То, что эта тема здесь не упоминается ни единым словом или даже намеком по-своему столь же показательно-сигнально, как и то, что книга эта вышла в издании некоего М.М.Левина. То есть, издателя с несомненно еврейской фамилией. И, таким образом, автор и его книга сразу с двух сторон, по разному, но вполне застрахованы от каких-либо подозрений в антисемитизме.

Но вот как раз в "Видении" возникает едва заметный, характерно замаскированный авторский уклон в сторону от обрядового либерализма книги, некоторый сбой ее радикально-гуманистической интонации.

Итак, главный герой "Видения" — студент Иван Зорин, по всей очевидности его характеристик, радикал-прогрессист, как и большинство его тогдашних русских коллег, вступает в некий "бурный спор" по поводу самых первооснов своего мировоззрения: "Со всей язвительностью будущего украшения адвокатской трибуны ему возражал студент юрист А., легкомысленный и беспринципный. "скользкий" юноша, которого долгое время не хотели допустить в "кружок", но который все-таки и сюда проник, как, впоследствии, всюду и всегда проникал". Разумеется, в виду явно намеренного антропонимического камуфляжа "студента юриста А". рискованно говорить о его национальном происхождении, но вместе с тем характеристика его как "скользкого", всепроникающего персонажа уж очень совпадают с соответствующей "филологией" антисемитской легенды о легендарной же "инфильтрации" еврейства — "всюду и всегда "проникающего", легенды, положенной среди прочего, в идеологическую основу ПСМ.

Но вот что несомненно. В ПСМ сам институт адвокатуры предстает, с одной стороны, как свидетельство правового и другого кризиса либеральной цивилизации, с другой — и как

тайное орудие "сионской" интриги по углублению того кризиса, и как явное вспомогательное средство грядущей "сионской" же диктатуры.

"Адвокатура создает людей ***холодных,*** жестоких, упорных, ***беспринципных,*** становящихся во всех случаях на безличную, чисто легальную ***почву***. Они приучились всё относить к выгоде защиты, а не к ***социальному*** благу ее результатов". ("Протокол № 17-й", с. 113).

Еще раз напомним о конфликте в "Видении" подобного персонажа со студентом-***социалистом:*** "Со всей язвительностью будущего "украшения" адвокатской трибуны ему (Ивану Зорину. — *В.С.*) возражал студент юрист А., легкомысленный и ***беспринципный***"...

"Зорин кричал, а его оппонент весьма спокойно его высмеивал, как бы играя словами, и, порой, вставляя иностранные выражения."

Привлекая с другой стороны семантический материал "Из записной книжки писателя" Головинского, нелишне указать — покамест только эпизодически — на еще одного ее антигерояадвоката. Петрова из мемуарной же новеллы "Точка опоры" с его "отталкивающей ***холодностью***" ("ИЗКП", с. 121), стремлением опираться на ***существующий фундамент***", на "***почву*** под ногами" ("ИЗКП", с. 117) (сравним вышеприведенные характеристики коллег того героя в ПСМ).

Но далее возникает сходство совсем уж неожиданное. В ПСМ "эту профессию" "мудрецы" собираются поставит в "узкие рамки, которые заключат ее в сферу исполнительного чиновничества", а ее носители "будут простые докладчики дела в пользу правосудия в перевес прокурору" ("Протокол № 17-й", с. 114).

Удивительно, что "холодный" эгоист-адвокат у Головинского, в полном соответствии с тем желательным превращением адвокатов "в перевес прокурору" в ПСМ, следует в ту же сторону: "Его дорога была ясно намечена — он шел к прокуратуре" ("ИЗКП", с. 121).

Таким образом, всего лишь одна единственная, но существенная деталь в сюжете первой части "Видения" скрыто резо-

нирует здесь некоторыми “юридическими” сюжетами ПСМ. Вторая часть и вовсе предстает как их своеобразный парафраз, представляя некий грядущий беспросветный деспотический пейзаж Европы, а затем и всего мира.

Обратим прежде всего внимание на этнического субъекта того деспотизма.

“Темной волной двинулись народы востока и поглотили старую культуру европейцев.

Эти новые для Европы, но бесконечно старые для мира народы, не имели представления о личном счастье, свободе и братской любви... Они даже не знали что такое “нравственность”... (“ИЗКП”, с. 42).

Последующая история спустя всего несколько десятилетий вполне прояснила “этноним” в притче о появлении “народов востока” в Европе.

Историк кино напоминает о том, что в 1940 г. в Германии “как раз в канун Рождества по всему Рейху вышел в прокат новый немецкий фильм “Вечный жид”, объявленный “Фолькишер Беобахтер” “великим документальным произведением”. 28 ноября того года в “УФА-Паласт” состоялась премьера этого фильма, которую за день до того предваряла следующая его аннотация в газете “Дер Ангрифф”: “Что это за народ, пришедший с востока тем же путем, что и крысы?” Теперь зритель получил вполне удовлетворительный ответ.”[19]

Странным образом на “западную” направленность еврейской миграции в мире указал в самом конце 1890-х и Теодор Герцль — в своей беседе с канцлером Германской империи князем Гогенлое и его статс-секретарем фон Бюловым: “И Вы верите, что евреи бросят свои биржи и побредут с вами? — спросил Гогенлое. — “Евреи, которые прекрасно устроились здесь, в Берлине?” “Ваша светлость, — ответил Герцль, — кроме Берлина, существует Берлин 0 или N — я точно не знаю, — где живут бедные евреи”. Бюлов: “Во всяком случае, это было бы первое странствие иудеев на восток. До сих пор они в основном передвигались на запад”. Герцль: “Да нет же! И в этот раз тоже на запад. Евреи уже обогнули земной шар. Восток снова стал западом”.[20]

Итак, пространственно вполне ***восточный*** маршрут в усилиях Теодора Герцля по воссозданию еврейской государственности все же воспринимался, даже в представлении инициатора того воссоздания, как "***западный***". Де Микелис достаточно убедительно доказывает, что ПСМ возникают, среди прочего, как скрытый памфлетный рефлекс на сионистскую активность конца века. (Можно только оспаривать возможную хронологию самого этого рефлекса, всецело относимого итальянским исследователем к началу века). ПСМ действительно сохраняют ту географическую направленность "сионистского" натиска-на-Запад — в самом начале третьего "протокола": "сегодня могу вам сообщить, что наша цель уже в нескольких шагах от нас. Остается небольшое пространство, и весь пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой цикл Символического Змия, каковым мы изображаем наш народ. Когда этот круг сомкнется, все Европейские Государства будут им замкнуты, как крепкими тисками". ("Протокол № 3-й", с. 66).

Итак, тот "Символический Змий" возвращается к первоначальной "иерусалимской" — точке своего нового исхода именно через Запад. Упомянутое начало того "протокола" почти текстуально предваряет "географический" пассаж в "Видении" (собственно в его разделе "Сигналы с Марса"): "Темной волной двинулись народы востока и поглотили старую культуру европейцев".

И далее тот раздел в картине абсолютного деспотизма, установленного теми "народами", наикратчайшим, но едва ли не исчерпывающим образом воспроизводит-аннотирует всю, скажем так, тоталитарную топику ПСМ.

Перечислим вполне очевидные параллели между "Сигналами с Марса" и ПСМ, параллели подчас доходящие именно до прямого текстуального совпадения.

Помимо уже указанного "маршрутного" параллелизма к вводной фразе "фантазии" Головинского — "Темной волной двинулись народы востока и поглотили старую культуру европейцев", — в ПСМ предстают следующие сходные "путевые" образы того движения:

"Наше государство, шествуя ***путем*** мирного завоевания, имеет право заменить ужасы войны менее заметными и более целесообразными казнями, которыми надобно поддерживать террор, располагающий к слепому послушанию". ("Протокол № 1-й", с. 62).

"Торжество нашей системы, части механизма которой можно располагать разно, смотря по темпераменту народов, встречаемых нами на ***пути***"... ("Протокол № 2-й", с. 65).

"Эти планы не перевернут пока вверх дном современных учреждений. Они только заменят их экономию, а следовательно, всю комбинацию их шествия, которое таким образом направится по намеченному в наших планах ***пути***". ("Протокол № 10-й", с. 87).

"Сигналы с Марса" уточняют-сокращают обещание "мудрецов" — "наше царство ознаменуется таким величественным деспотизмом, что он будет в состоянии во всякое время и во всяком месте прихлопнуть противодействующих и недовольных гоев". ("Протокол № 5-й", с. 73) — до некоей лаконичной гиперболы того деспотизма. Гиперболы, непрерывно резонирующей соответствующими образами и понятиями ПСМ. Например "ненависть" в "Видении" и "ненависть" же в ПСМ.

"Эти новые для Европы, но бесконечно старые для мира народы... Эти народы водворили повсюду повиновение и порядок на началах ***ненависти*** и подчинения, подрезав все те человеческие головы, которые, как высокие колосья, поднимались над толпой".

"Ненависть" и "порядок" — ключевые лексемы в ПСМ:

"Нуждою и происходящею от нее завистливою ***ненавистью*** мы двигаем толпами и их руками стираем тех, кто нам мешает на пути нашем". ("Протокол № 3-й", с. 68).

"***Ненависть*** к привилегированным" — со стороны "низших классов гоев". ("Протокол № 4-й", с. 72).

"Мы противопоставили друг другу... религиозные и племенные ***ненависти***, выращенные нами в их (гоев. — *В.С.)* сердцах в продолжении двадцати веков". ("Протокол № 5-й", с. 74).

"В наших руках... злобные ***ненависти***". ("Протокол № 9-й", с. 83).

"Необходимо ... переутомить всех ... ***ненавистью***". ("Протокол № 10-й", с. 91).

"Мудрецы" о своей стратегической цели:

"приведение всего к ***порядку***... хотя и через некоторое насилие, но он все же будет установлен". ("Протокол № 22-й", с. 129).

"Новые народы" в "Сигналах с Марса" действуют — "на началах ненависти и подчинения, "***подрезав все те человеческие головы***, которые, как высокие колосья, поднимались над ***толпой***".

Подобным же образом действуют "мудрецы" — "во всякое время и во всяком месте прихлопнуть противодействующих и недовольных гоев". ("Протокол № 5-й", с. 73).

"Мы" — "устраним ***выделение индивидуальных умов***, которым ***толпа***, руководимая нами ***не даст ни выдвинуться, ни даже высказаться:*** она привыкла слушать только нас, платящих ей за послушание и внимание". ("Протокол № 10-й", с. 86–87).

Программа политического и другого устранения "членов толпы, выскочек из народа, хотя бы и гениально умных". ("Протокол № 1-й", с. 60).

Несомненное сходство между эзотерической "наукой" "новых европейцев" и "мудрецов":

"Уничтожив просвещение всех, эти народы тщательно сохранили науку немногих.

И эта далекая от всех наука продолжала быстро идти вперед; облегченная от груза совести она пошла еще быстрее".

"На развалинах природной и родовой аристократии мы поставили аристократию нашей интеллигенции... Ценз этой аристократии мы установили... в науке, двигаемой нашими мудрецам". ("Протокол № 1-й", с. 63).

"... наши ученые и гениальные советчики, специалисты, воспитанные с раннего детства для управления делами всего мира". ("Протокол № 2-й", с. 64).

"единая истинная наука, первая из всех — наука о строе человеческой жизни, социального быта требующего разделения труда, а следовательно, разделения людей на классы и

сословия". "Правильная наука социального строя, в тайны которой мы не допускаем гоев". ("Протокол № 3-й", с. 68)

"Царям и наследникам" — "Только этим лицам будет преподано ... все наблюдения над политико-экономическими ходами и социальными науками". ("Протокол № 24-й", с. 132).

В обоих текстах эта "наука" подчеркнуто "бес-совестна":

"Эта далекая от всех наука... ***облегченная от груза совести***". ("Сигналы с Марса").

В ПСМ "совести" не должно быть даже как основы некоторых правовых и политических категорий, подчёркивается юридический хаос современной цивилизации, ее "такое запутанное законодательство.

Отсюда — теория суда ***совести***". ("Протокол № 9-й", с. 84)

"свобода ***совести***" — это то, что, среди прочих либеральных свобод, "должно будет исчезнуть из человеческого репертуара, или должно будет в корне изменено на другой день после провозглашения новой конституции". ("Протокол № 11-й", с. 91–92).

Совершенное сходство представлений о "нравственности" и "разуме" как псевдонимах абсолютного "порядка" и "повиновения" — в "Сигналах с Марса" и ПСМ:

"Они даже не знали, что такое "нравственность", и на их языке это понятие переводилось словом "порядок".

Им было чуждо и слово "разум": они переводили его словом "повиновение".

"Макиавеллизм" ПСМ — "Того, который от всей либеральной души сказал бы, что рассуждения такого рода ***безнравственны***, я спрошу: если у каждого государства два врага и, если по отношению к внешнему врагу ему дозволено и не почитается безнравственным употреблять всякие меры борьбы..., то почему же такие же меры в отношении худшего врага, нарушителя общественного строя..., можно назвать недозволенными и безнравственными?" ("Протокол № 1-й", с. 58-59).

"Обратим же внимание в наших планах не столько на доброе и нравственное, сколько на нужное и полезное". ("Протокол № 1-й", с. 60.

"Мы убедили, что прогресс приведет всех гоев к царству ***разума. Наш деспотизм и будет таковым***, ибо он сумеет разумными строгостями замирить все волнения, вытравить либерализм из всех учреждений". ("Протокол № 1-й", с. 69).

"Сигналы с Марса":

"И эти народы водворили повсюду ***повиновение и порядок***"... "самый ***строгий порядок".***

ПСМ фактически начинаются с положения, согласно которому "лучшие результаты в управлении людьми достигаются насилием и устрашением". ("Протокол № 1-й ", с. 57).

ПСМ, начиная с доктрины ***"строгости"*** в первом же "протоколе" (с. 62):

в европейской досовременности, в отличие от "пружин механизма" нынешних "гоевских учреждений" — "пружины эти были в ***строгом***, но справедливом ***порядке".*** ("Протокол № 9-й", с. 84).

"изменение проведено будет с ***суровой строгостью*** и в смысле ***строгости*** и ограничений". ("Протокол № 11-й", с. 92).

"толпа руководимая нами", — "привыкла слушать только нас, платящих ей за ***послушание*** и внимание". ("Протокол №10-й", с. 86–87).

"держим свой народ и наших агентов в неукоснительном ***послушании***". ("Протокол № 15-й", с. 106).

Наконец, технология как орудие власти в "Сигналах с Марса" и в ПСМ:

"Низвергнув старую культуру, новые европейцы сохранили, однако, все ***технические усовершенствования*** производства, ***практическую полезность*** которых они уже успели изведать".

"... мы с полным успехом вскружили прогрессом безмозглые гоевские головы и нет среди гоев ума, который бы увидел, что под этим словом кроется отвлечение от истины во всех случаях, ***где дело не касается материальных изобретений***, ибо истина одна, в ней нет места прогрессу". ("Протокол № 13-й", с. 100).

Сама технология власти "мудрецов" истолковывается собственно "технологически", "машинно":

"Торжество нашей системы, части механизма которой можно располагать разно, смотря по темпераменту народов, встречаемых нами на пути, не может иметь успеха, если ***практическое ее применение*** не будет основываться на итогах прошлого в связи с настоящим". ("Протокол № 2-й", с. 65).

Совпадение в "Видении" и ПСМ исторического возраста и базового мировоззрения — "новых европейцев" и "мудрецов":

"Эти ***новые для Европы, но бесконечно старые для мира народы*** не имели представления о личном счастье, свободе и братской любви... Они даже не знали, что такое "нравственность", и на их языке это понятие переводилось словом "порядок".

Им было чуждо и слово "разум": они переводили его словом "повиновение".

"Бесконечно старые для мира народы" соответствуют этнической метрике "мудрецов", действующих, по их словам, "на продолжении двадцати веков" ("Протокол № 5-й", с. 74), ныне завершающих свои "***многовековые работы***" ("Протокол № 1-й", с. 60) строящиеся через "сравнение ***многовековых*** опытов" ("Протокол № 24-й", с. 132). Таков возраст "нашей народности" ("Протокол № 15-й", с. 106).

Эти "народы" не имеющие "представления о личном счастье" и "свободе", даже лингвистически чуждые "нравственности" и "разуму" вполне совпадают в своих действиях с народом-интриганом ПСМ:

"убить инициативу, отдавая волю людей в распоряжение покупателя их деятельности". ("Протокол № 1-й ", с. 63).

"... мера ... к тому, чтобы... обескуражить всякую ***личную*** инициативу... Нет ничего опаснее ***личной*** инициативы". ("Протокол № 5-й ", с. 75–6).

"Слово — "свобода" выставляет людские общества на борьбу против всяких сил, против всякой власти, даже Божеской и природной. Вот почему при нашем воцарении мы должны будем ***это слово исключить из человеческого лексикона***..." ("Протокол № 3-й ", с. 70).

все либеральные "свободы" — "***должно будет исчезнуть из человеческого репертуара***". ("Протокол № 11-й", с. 91–92).

"... в природе нет равенства, не может быть свободы". ("Протокол № 1-й", с. 62).

"Свобода" — всего лишь "отвлеченность произнесенных слов", "абстракция свободы". ("Протокол № 1-й", с. 62, 63).

Грядущий кризис "народов востока" выявляет вместе с тем, хозяйственные основоположения, трудовые ресурсы их деспотизма, даже лингвистически сходные с "сионскими".

"... даже господа не были в состоянии выгнать в эти дни свой скот и рабов на работу... работали уже немногие...

Страх перестал действовать на людей, не хотевших жить".

В ПСМ:

"те же, которых мы почему либо помилуем, будут оставаться в постоянном ***страхе***.." ("Протокол № 15-й", с. 103).

"Мы не считали жертв из числа семени ***скота*** — гоев". ("Протокол № 15-й", с. 106).

Коллаборационисты из числа "гоев" — "Администраторы, выбираемые нами из публики, в зависимости от их ***рабских*** способностей..." ("Протокол № 2-й", с. 64).

"мы заменили правление карикатурой правительства — президентом, взятым из толпы, из среды наших креатур, ***наших рабов".*** ("Протокол № 10-й", с. 88).

Еще раз вспомним технику власти "новых европейцев": "И эти народы водворили повсюду повиновение и порядок, на началах ненависти и подчинения, ***подрезав все те человеческие головы, которые,*** как высокие колосья, ***поднимались над толпой***".

Террористические же средства "мудрецов":

"мы постараемся, чтобы против нас уже не было заговоров. ***Для этого мы немилосердно казним всех, кто встретит наше воцарение с оружием в руках.*** Всякое новое учреждение какого-либо тайного общества будет тоже наказано ***смертной казнью***". ("Протокол № 15-й", с. 103).

"Смерть есть неизбежный конец для всякого. Лучше этот конец приблизить к тем, кто мешает нашему делу..." ("Протокол № 15-й", с. 106).

Тема пришельцев-победителей в обоих текстах:

"Новые для Европы народы", "новые европейцы" в "Сигналах с Марса" "поглотили старую культуру европейцев", "низвергнув старую культуру".

"... ***мы избраны Самим Богом на царство над всею землею...*** Будь гений у противного лагеря, он бы еще поборолся с нами, но ***пришлец не стоит старого обывателя:*** борьба была бы между ними беспощадной, какой не видывал еще свет. Да и опоздал бы гений их". (Протокол № 5-й", с. 74).

Сами обстоятельства возникновения пессимистической притчи "***Сигналы*** с Марса" в "Видении", похоже, восходят к литературной политике "мудрецов":

"мы учредим литературные собрания, в которых наши агенты будут незаметно давать пароль и ***сигналы***". ("Протокол № 12-й ", с. 97).

"Видение начинается именно с "собрания" "кружка", на котором "беспринципный", "скользкий" А., "будущее украшение адвокатской трибуны", ставит своего "прогрессиста"-оппонента в мировоззренчески безвыходное положение, вследствие чего тот и сочинил ультрапессимистические "***Сигналы*** с Марса" или "Сказку о будущем человечества и Земли".

Очень любопытно описание самой рукописи этих сокращенных "паролей" и "сигналов" основной топики ПСМ.

Рассказчик говорит о ней следующее:

"Устав от бесцельных передвижений по комнате, я опустился в единственное кресло около окна и стал перебирать всякие бумаги на подоконнике.

Среди разбросанных листков лекций здесь лежала небольшая тетрадка.

Странное заглавие невольно заставило меня взять ее в руки.

Заглавие было почти вырисовано Зориным на корешке, а затем, чрезвычайно отчетливо, его же твердым почерком были написаны и последующие строки."

Возможно, что во всей "вселенной Гутенберга" — это единственное приближенное к истине описания той "тетрадки", которую якобы видели — княгиня Радзивилл и Александр дю Шайла?

Завершая тему "Сигналов с Марса", выскажем предположение, что "***Темная волна***" того в них нашествия с востока — троп, как-то перекликающийся с названием романа Н.Вагнера, бывшего известным ученым и достаточно известным беллетристом, "***Темный путь***" (в журнальной публикации "темное дело" (1881–1890), романа, по наблюдениям г-на Дудакова, представляющего собой едва ли не рекорд антисемитского китча в массовой русской беллетристике прошлого века (Савелий Дудаков, "История одного мифа", с. 242–258).

Вместе с тем эпитет "темный" у Доктора-Фауста также перекликается с категорией "темного дела" в "Протоколах": "мы будем подстраивать выборы таких президентов, у которых в прошлом есть какое-нибудь не раскрытое ***темное дело,*** какая-нибудь "панама". ("Протокол № 10-й", с. 88). Весьма возможно, что в данном случае "протокольное" выражение восходит к названию романа Бальзака "Темное дело" ("Une ténébreuse affaire", 1841) из цикла "Сцены политической жизни", романа, посвященного именно выборам, но еще в эпоху заката Первого консульства. Романа, давшего французской журналистике соответствующий троп, неожиданно отозвавшийся в вышеприведенном образе из русской притчи.

Обратимся ко второму разделу книги Головинского — "Наброски". Первый из "Набросков" в "Записной книжке" Доктора-Фауста — "Острою секирой ранена береза" — представляет собой едва ли не одностраничную новеллу о "судьбе" березы, срубленной, а затем увезенной из родного леса и превращенной затем в "телеграфный столб" — как в орудие мирового коммуникативного процесса:

"***Струя неведомой жизни наполнила ее всю.***

Вечная, беспокойная мысль человеческая понеслась чрез нее ***с одного конца света на другой*** в непрерывном круговороте.

И помчались вереницей слова и мысли, и застонала и зазвучала одинокая береза..." ("ИЗКП", с. 23).

Эта вполне безобидная картина того "процесса" странно перекликается с проблемой "оповещения" о "мировых событиях" в 12-м из "Протоколов", сплошь посвященном "сионским" интригам в области журналистики:

"***Ни одно оповещение не будет проникать в общество без нашего контроля.*** Это и теперь уже нами достигается тем, что все новости получаются несколькими агентствами, в которых они централизуются со ***всех концов света***". ("Протокол № 12-й", с. 94).

В "Наброске" эти "новости" "централизует" березовый "телеграфный столб", а в "Протоколах" — зависимые от "мудрецов" телеграфные "агентства"...

В "мемуарном" очерке "Точка опоры" возникает образ по студенческому прозвищу "народника по призванию", а по собственному определению, "скитальца" ***Николая*** Семенова с его постоянным пафосом того, что в "Протоколах" зовется "мечтой о поглощении человеческой индивидуальности символической единицей коллективизма" ("Протокол № 15-й", с. 106). Семенов, оспаривая сугубо индивидуалистическую "точку опоры" своего идеологического оппонента Петрова, предлагает следующую метафору "коллективизма":

"Разве настоящий борец не то же, что волна, разве в нем не стихийная сила?

Волны эти выдвигает человеческое море ***вплоть до девятого вала*** — гения, победителя, сокрушителя и — строителя творца.

Пусть до него все разобьются — ***против девятого вала не устоять***..." ("ИЗКП", с. 118)

В "Записках писателя" Н.Телешова в литературной Москве примерно тех же лет — начало 1890-х — появляется удивительно схожий образ фанатичного "народника", также называющего себя "скитальцем народной земли", писателя ***Николая*** Соловьева-Несмелова, витийствующего в совершенно том же стиле:

"— В гору! В гору, молодой человек! — говаривал он по вечерам на субботниках. — Кто не идет в гору, тот пропадает. Работайте, пробивайтесь! ***Но идите только в гору. Жизнь сильна девятым валом".***

И вот в последнем из "Набросков" — "Поп и мышь" — возникает образ бесконечно совестливого деревенского священника, "попа Василия". Священник в алтаре, на престоле, видит "мышку" и всердцах ее убивает "жезлом". После той расправы с мышью начинается духовное перерождение героя,

совершенно затем отказывающегося от каких-либо собственных интересов, раздающего беднякам свое имущество — и наконец умирающего в полной нищете. Но и в полном согласии со своей совестью.

Герой "Наброска" видит накануне своего обращения "странный сон":

"Идет он, будто, в полном облачении, в ризах золоченых с серебром на высокую гору...

И всех тащит в гору поп Василий...

И трудно ему идти.

... а гора все круче да круче...

В полугоре видит поп издали Того, Кому он двадцать пять лет служит..." ("ИЗКП", с. 34–35).

Затем герой, уже уйдя из церкви, видит в предсмертном сне:

"... чувствует только, что опять в гору идет, но уже не в ризах дорогих и тяжелых, а в рубище своем.

И легко ему идти...

Высоко уже и боится поп Василий голову поднять.

Ведь там — Судия праведный, Тот, перед Которым, как раб неверный, прожил он всю свою жизнь, с Которым скорбел и служил Которому лишь теперь несколько недолгих месяцев..." ("ИЗКП", с. 37).

Вот так, как бы следуя совету "народника по призванию", герой "Наброска" идет "в гору": "на высокую гору".

Так в книге Доктора-Фауста, сына пламенного фурьериста ***Василия*** Головинского, возникает образ некоей "высокой горы".

"Высокая гора" — конечно же Сион.

"Поп Василий" в "наброске" "Поп и мышь", покидающий официальную церковь и в своих снах поднимающийся "на высокую гору", то есть на "Сион" — беллетристический образ основной стратегии русского сектантства, отвергающего "православие без любви" как "созданье сатаны" (одна из главных тем так называемого "сионского христианства" знаменитого капитана Ильина).

"Поп и мышь" — свидетельство "живого" интереса Доктора-Фауста к русскому сектантству, ключевой лексемой в "идеолекте" которого были — "Сион" и "сионский"...

А теперь вспомним и самих "сионских мудрецов".

Политическая экономия в ПСМ — их интеллектуальный продукт:

"***Измышленная нашими мудрецами наука*** политической экономии давно указывает царский престиж за капиталом". ("Протокол № 5-й", с. 74).

Сравни также обращение к части "мудрецов" в следующем по числу "протоколе":

"Господа ***экономисты***, здесь присутствующие, взвесьте-ка значение этой комбинации!" ("Протокол № 6-й", с. 77).

"Мы окружим своё правительство целым миром экономистов". ("Протокол № 8-й", с. 81).

А также программу обучения "царей и их наследников" в самом последнем "протоколе":

"Только этим лицам будет преподано практическое применение названных планов через сравнение многовековых опытов, все наблюдения над ***политико-экономическими ходами".*** ("Протокол № 24-й", с. 132).

Мемуарная же новелла Доктора-Фауста "Виноват ли?" начинается со следующей демонстрации неприязни к политической экономии:

"С лекции, на которой "***премудрый***" ***политико-эконом*** внушал нам, что политическая экономия для животных не существует, я вернулся домой злой и усталый. Ничто так не утомляет, как слушание чепухи, хотя бы три четверти часа". ("ИЗКП", с. 132).

Что касается здесь "животных", то, похоже, здесь говорится не только о собственно животных. Вспомним образ массового человека-"гоя" в первом же "протоколе":

"Взгляните на наспиртованных ***животных,*** одурманенных вином, право на безмерное употребление которого дано вместе со свободой". ("Протокол № 1-й", с. 61).

Чрезвычайно любопытно появление "мудрецов" у Доктора-Фауста едва ли не сразу же после названной программной "психограммы" "Беспокойный сосед" — во второй "психограмме" "Не хочу жить". О ней уже говорилось в связи с точно указанным там парижским адресом Головинского 1900-х годов.

Итак, герой той "психограммы" в эротическом экстазе решает уйти из жизни — именно в виду восторженного ощущения ее полноты:

"После такого счастия не живут более.

Я не упал — ты меня сделала богом.

Пусть ***мудрецы*** скажут, что я покончил с собой под влиянием "аффекта", и, копошась в моем мозгу, найдут в нем "отклонения явно патологического характера". ("ИЗПК", с. 9-10).

Разумеется, "мудрецы" здесь — собственно Макс Нордау, автор знаменитой в свое время книги "Вырождение" (вышедшей на русском языке в конце 1893 г. сразу двумя изданиями), книги, подвергшей разгромному литературно-психиатрическому анализу всю сумму "сумеречной" культуры "конца века".

Вскоре после той книги врач-писатель публицист Макс Нордау стремительно ушел в сионистскую идею и стал одним из главных ее архитекторов, одним из главных, скажем так, ее "мудрецов". Врач-писатель и журналист Головинский, разумеется, знал об этом мировоззренческом повороте своего тогда весьма известного коллеги. По-видимому, вот так и появились "мудрецы" в первом же разделе Доктора-Фауста — на основе соединения прежней писательской репутации Нордау и новой его — уже сионистской — роли, да еще и ведущей.

Впрочем, "мудрецы" и лексические производные от них появляются в книге Доктора-Фауста и в других, не менее характерных контекстах. В "мемуарной" новелле "Не простил смеха.." говорится о некоем, очевидно, конспиративном студенческом кружке (ср. "Видение"): "Члены этого кружка были объединены, как гласил, может быть слишком громко, первый параграф гектографической программы, "задачами по выработке идеала частного, личного, и общественного, коллективного, на почве отношений современности" и т.д.

"Здесь читались добровольцами обоего пола рефераты по вопросам этическим, религиозным, экономическим и т.п". ("ИЗКП", с. 107).

Для атмосферы кружка характерно последнее положение его "общественного договора": "не дозволялись замечания

относительно словопроизношения и ударений в словах", "из уважения к говорам представителей различных национальностей кружка". ("ИЗКП", с. 106, 107).

Вот так жанрово, в таком вот контексте, возможно, и вызревал тот самый сверхреферат — по вопросам этическим, религиозным, экономическим и другим, впоследствии прочитанный в астрономических тиражах перед мировой аудиторией. Но дело в другом — в другой новелле того же цикла "Виноват ли?" действует тот же кружок — при "особенных" взглядах на деньги: "Занимаемые деньги отдай тому, кто в них нуждается, и твой долг уплачен, — проповедовал один из безбородых ***мудрецов*** нашего кружка и с ним никто по сему предмету не спорил" ("ИЗКП", с. 135). В другом случае и в другой новелле — "Светляк" — рассказчик говорил "в нашем товарищеском кружке" одному из его участников: "не мудри, братец. Ох уж эти мудрящие господа! Ну и перемудрил." ("ИЗКП". С. 82). Кстати, того участника товарищи называют "Маремьяна-***старица"*** — как бы русско-женское соответствие "мудрецам". ("ИЗКП" с. 79, 80, 83).

Нелишне напомнить, что для той среды тогда абсолютным авторитетом был Н.Г.Чернышевский, в своеобразной "филологии" которого под "мудрыми" мыслями подразумевались революционные идеи. У писателя Головинского тот эпитет приобрел другое идеологическое наполнение.

Книга Доктора-Фауста "Из записной книжки писателя" заканчивается "сюжетом" "Ау-ау!" — и, в некотором роде, в обратной симметрии тем, с чего начинаются "Протоколы сионских мудрецов"...

"Протокол № 1-й " собственно начинается с предложения, "***отложив фразерство***", "говорить о значении каждой мысли", "сравнениями и выводами осветим обстоятельства", а семантически — с фундаментального "антропологического" первоположения "Протоколов": "Надо заметить что ***люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых***". ("Протокол № 1-й ", с. 57).

В режиме той обратной симметрии заключительная новелла "Из записной книжки писателя" начинается со спора о

женщине и о любви к ней — отца-идеалиста с сыном, "молодым студентом": отец полагает, что "конечно, Руссо метко сказал, что всё выходит чистым из рук Творца и портится в руках людей, но ведь это люди же виноваты, людские руки...", на что сын отвечает совершенно в духе "протокольной" "антропологии", ставящей под сомнение бытийственную чистоту человека: "Это все тот же неисправимый идеализм, и больше ничего, да еще притом с целью самооправдания. Шалит плоть, вот и ***прикрывается все это красивыми фразами...*** ("ИЗКП", с. 161). Сразу же сравни эти "красивые фразы" с "академическими рассуждениями" — с уничижительной характеристикой политичес-кого идеализма в том же начале "Протоколов". ("Протокол № 1-й", с. 57). Для студента любовь к женщине — проявление изначального эгоизма человека, первосклонности его быть "***чуждым добру***", стремления к тому, "***что только приносит пользу одному себе и удовольствие***" (там же).

Сравни буквально первую страницу "Протоколов": "...редкий не был бы готов пожертвовать благами всех ради достижения благ своих". ("Протокол № 1-й", с. 57).

Упомянутая "антропология" первого же "Протокола" их автором едва ли не целиком заимствована у Мориса Жоли — последние страницы Доктора-Фауста, излагающие пессимистические взгляды студента на человека, заимствованы из "Протоколов"...

Далее.

"Шалит плоть" ("ИЗКП", с. 161) — "Что сдерживало хищных животных которых зовут людьми?" ("Протокол № 1-й", с. 58).

Студент-оппонент "неисправимого идеализма" как бы в совершенное продолжение социальных рецептов "Протоколов", указующих на "грубую и слепую ***силу***" и продолжающий ее "закон" как единственное средство к "управлению" человеком, предлагает: "Один выход: это ***исключить*** из жизни для блага жизни любовь... ***Нужно заставить*** молчать сердце, да, необходимо ***заставить*** молчать" (там же).

Рассказчик, казалось бы, не приемлет предлагаемого насилия над человеком, совершаемого якобы для "блага жизни",

но вслед за тем снова следует очевидная, но характерно превращенная рецепция из "Протоколов":

"А, может быть, прав студент, продолжал думать я, ведь в самом деле, сколько людей и не мечтают о любви, и мне припомнились строфы Некрасова:

Пожелаем тому доброй ночи,
Кто все терпит во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста,
Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться мечтам и страстям".

("ИЗКП", с. 162)

Сравним "социологию" "Протоколов":

"... мы, когда наступит наше царство, будем неукоснительно придерживаться, а именно: что в народных школах надо преподавать единую истинную науку, первую из всех — науку о строе человеческой жизни, социального быта ***требующего разделения труда***, а следовательно, ***разделения людей на классы и сословия.*** Необходимо, чтобы знали все, что равенства быть не может, вследствие различия назначения деятельности.. Правильная наука... показала бы всем, что место и труд должны сохраняться в определенном кругу, чтобы не быть источником человеческих мук от несоответствия воспитания с работой. При изучении этой науки, народы станут добровольно повиноваться властям и распределенному ими строю в государстве". ("Протокол № 3-й", с. 68–69).

Последние "протоколы" и вовсе начинают отзываться на некоторые образы и смыслы той заключительной новеллы.

Предложение радикала-студента — "это исключить из жизни, для блага жизни" — находит параллель в провокационно-ироническом замечании "мудрецов":

"... мы рекламировали мученичество, якобы принятое крамольниками на себя, за идею общего ***блага***. ("Протокол № 19-й", с. 119).

Свои же усилия они затем представляют как "то зло", что "в конце концов послужило истинному ***благу***". ("Протокол № 22-й", с. 129).

Укрощение же эроса, предлагаемое студентом, становится одним из центральных сюжетов предпоследнего и последнего "протоколов" — примерно в том же языковом облике, что и в последней новелле Доктора-Фауста-Головинского.

"Этот избранник Божий назначен свыше, чтобы сломить безумные силы, движимые инстинктом, а не разумом, животностью, а не человечностью". ("Протокол № 23-й", с. 131).

И наконец, "каденция", самый последний пассаж ПСМ:

"Царь Иудейский не должен находиться под властью своих страстей, особенно же — сладострастия: ни одной стороной своего характера он не должен давать животным инстинктам власти над своим умом. Сладострастие хуже всего расстраивает умственные способности и ясность взглядов, отвлекая мысль на худшую и наиболее животную сторону человеческой деятельности.

Опора человечества в лице всемирного владыки от святого семени Давида должна приносить в жертву своему народу все личные влечения". ("Протокол № 24-й", с. 133).

Здесь явное совпадение с предложением студента — "это исключить из жизни". Но также и с тем, что "новые европейцы" из "Сигналов с Марса" "не имели представления о личном счастье".

Итак, книга Доктора-Фауста от первой "психограммы" до заключительной новеллы представляет собой как бы произвольный "перемонтаж" "Протоколов", интенсивный парафраз множества их мотивов, самой их фразеологии, не чураясь подчас даже буквального воспроизведения "протокольного" стиля.

Едва ли автор делал это сознательно. Скорее всего его обычная журналистская манера здесь вращается вокруг тех или иных своих "постоянных" — "историософских", социологических и просто стилевых, задолго до появления этой книги "отвердевших" еще в "Протоколах".

Совершенно сознательным в книге-"алиби" М.Головинского-Доктора-Фауста представляется лишь стремление автора

представить себя, скажем так, независимым радикалом, образцовым выходцем из среды русского радикального же студенчества 1880-х (левого крыла, по слову писателя Александра Амфитеатрова, "восьмидесятников").

Столь же очевидно, как уже указывалось, самое тщательное стремление автора избежать еврейской темы — в каком бы то ни было ее семантическом облике. Напомним: лишь в ключевой для исследуемой проблемы "протокольных" резонансов в книге Доктора-Фауста новелле "Видение" возникает образ "студента-юриста", "скользкого" юноши", чья фамилия осторожно представлена инициалом А. Да в новелле "Не простил смеха..." того же мемуарного цикла книги говорится о филологического свойства "последнем правиле" "общественного договора" — среди прочих "правил" "общественного договора" внутри некоего студенческого "кружка": "не дозволялись замечания относительно словопроизношения и ударений в словах": "... необходимость же последнего правила вытекала из уважения к говорам представителей различных национальностей кружка и из осознанной необходимости ***отдавать предпочтение сущности, мысли, перед формой, словом***". ("ИЗКП", с. 106,107).

Но то давнишнее "уважение" автора если не к правам, то "к говорам" тех "представителей разных национальностей" упомянуто им в одном синтаксическом ряду со словесной конструкцией, удивительно напоминающей самую первую "протокольную" фразу.

"... отложив ***фразерство***, будем говорить о значении каждой мысли, сравнениями и выводами осветим обстоятельства". ("Протокол № 1-й", с. 57).

И еще раз вспомним монолог студента, отвергающего "идеализм", который "прикрывается" "красивыми фразами". ("ИЗКП", с. 161).

Помимо окольцовывающих книгу Доктора-Фауста названных "психограммы" и "мемуарной" новеллы, а также "Видения" — произведений, непрестанно превращающих тот или иной протокольный текстовый материал, мы в состоянии выявить немалый массив параллелей такого рода — в остальном тексте книги.

Исключительный интерес представляет здесь беллетристическая перешифровка некоторых основоположений ПСМ в мемуарной новелле "Точка опоры". Собственно, в содержащейся там полемике двух студентов" — "народника по призванию" Семенова и его антагониста, холодного и расчетливого Петрова. Эта полемика стоит того, чтобы ее воспроизвести целиком.

"...в Семенове было много черт, по которым его, действительно, можно было назвать народником по призванию. Это обозначение подходило к Семенову хотя бы потому, что благодаря его отзывчивости у него было всегда нечто общее с собеседником, профессором, студентом или даже Иваном коридорным, нечто общее всякому выходцу из народной толпы, к которой своими корнями, в сущности, принадлежал и сам Семенов. Его родители — однодворцы степной губернии — были скорей крестьяне чем дворяне.

Совершенную противоположность с открытой натурой Семенова представлял Петров, сын мелкого чиновника. Почти квадратный крепыш с блестящими черными глазами, энергичный, со стальным характером и недюжинным умом; он не был симпатичен своей замкнутостью, своим стремлением прежде всего самого себя ограничить, а затем и от всех других отгородить, отделить.

И теперь разговор Семенова и Петрова был характерен для обоих.

Петров высказывал мнение, что следует менее "искать" и более опираться на "существующий фундамент".

"Главное, поверь мне, это — точка опоры", — говорил он. — Как ни привлекательны далекие горизонты — без точки опоры это все одна идеология.

Что может быть в наших с тобою глазах разумней того принципа, по которому интересы масс должны иметь преимущественное значение в организации общественности, что понятней призыва к солидарности ради защиты прямых нужд, весьма и весьма даже реальных?

Однако посмотри... сила количественная молчит, дважды два для нее по прежнему стеариновая свечка, а не четыре, а

меньшинство ест на ее глазах хлеб с маслом, отнимая, естественно, для своего масла — хлеб у этой количественной силы.

Почему же это так? Да просто потому, что эта масса, за отсутствием точки опоры, современной, а не какой-либо лежащей вне пространства и времени, не может выделить и отграничить от себя, выдвигая их постоянно, необходимые тараны и стенобитные орудия.

А меньшинство, между тем, умеет авторитетно утверждать...

Недостаточно иметь любовь к правде, но нужно уметь и найти правду и иметь искусство заставить ее оценить и пользоваться ею...

Моменты пророчеств не были никогда моментами их осуществления — напротив, современниками пророчества всегда считались безумием...

Вспомни Колумба, умершего в цепях, Гутенберга, бежавшего от долгов, сожженного Галилея и Джордано-Бруно...

И теперь тоже — проповедник, без миллионов, без власти, без точки опоры, только один из подлежащих избиению пророков, но для настоящего его значение равно нулю.

Ты скажешь: семя взойдет — не спорю, но сеятелю не увидеть жатвы — ни ему, ни его современникам.

Только смерть людей, этих его милых современников, спасет истину.

Однако, я не вижу, какое же удовлетворение дано тем, кто посеял?

Нет, друг — всякому овощу свое время.

Я тоже жить хочу и строить, не в ущерб другим, но и себе не на погибель, строить прочно, строить на существующем фундаменте.

Осмотрю почву под ногами, найду точку опоры и начну действовать... на пользу свою и других.

Конечно прежде всего свою, а затем и других, избегая столкновения между своей пользой и пользой своего ближнего, но в обе стороны.

Я не сторонник мученичества, хотя бы потому, что оно даже не доказательство истины, а лишь доказательство выносливости мученика.

Я хочу жить, хотя бы для этого и пришлось отгородиться от многого... Ведь это ни что иное, как распространение принципа самосохранения и на свою личность, а разве это не одно из неоспоримых “прав личности”, о которых повествует наш косматый?”

“Нет, брат, совсем нет, — горячо и огорченно перебил его Семенов.

Нужно всему высказаться, целиком, поскольку, по крайней мере, сам понимаешь и умеешь.

Да впрочем... всамделишный — вопреки себе — не смолчит.

Разве настоящий борец не то же, что волна, разве в нем не стихийная сила?

Волны эти выдвигает человеческое море вплоть до девятого вала — гения, победителя, сокрушителя и — строителя творца.

Пусть до него все разобьются — против девятого вала не устоять... Но и в предшественниках — сила.

Они предвестники — за ними стихия несокрушимая...

И это грозно.

А отдели частицу стихии, хотя бы для того, чтобы лучшее сохранить — что будет?

Капля грязи...

Такова участь тех, которые понимают и замыкаются в своем понимании, замораживаются в “чистом” искусстве, чистой науке и т.д.

Все это — грех против духа свята, духа истины... страха ради иудейска”.

“Ишь куда заехал — грех против духа истины”.

Начал опять Петров — “по-моему, повторяю, просто инстинкт самосохранения. Все вижу — но себя ненавижу и молчу. В этом и есть задача... человека с сильным характером.

Все же эти “борцы” напоминают мне, знаешь ли, паровоз, который на полных парах пустили по рельсам, а поезд прицепить забыли...

Он и несется, бедненький, может и долго пронесется, а все же в конце концов где-нибудь в местах отдаленных скувырнется... Я хочу до станции доехать и довезти с собой все то, что захвачу по пути и что довезти должен — прощай”...

Пожав друг другу руки, мы разошлись в разные стороны.

Немногим ранее появления книги Доктора-Фауста происходит тот эпизод "Доктора Фаустуса" Томаса Манна, в котором звучит следующая немецкая студенческая реплика, в связи со студенческим же вопросом — "Что, молодежь других народов тоже терзается проблемами и антиномиями?" — "За исключением русской революционной молодежи, — вставил Арцт. — У этих, насколько мне известно, идут беспрерывные споры, полные напряженнейшей диалектики".

Исторические результаты этих студенческих и других прений известны. Но, дело, разумеется, в другом: студенческая мировоззренческая перепалка у Доктора-Фауста отзывается не только общей "диалектикой" русской интеллигентной молодежи двух последних царствований, но и множеством, скажем так, "смыслов" ПСМ. "Точка опоры" весьма элементарно беллетризует некоторые стороны семантики ПСМ, в режиме самой примитивной "художественности" перекодирует их — в основных положениях вышеприведенного спора, прежде всего, в аргументах Петрова, едва ли не пародийно отзывающихся некоторыми "социологическими", "этическими" и другими тезисами ПСМ.

Обратим внимание на некоторые такие резонаторы последних в тексте Головинского.

Обратим внимание на сам облик и участь главного оппонента "народника по призванию".

"Напряженная борьба за превосходство, толчки в экономической жизни создадут, да и создали уже, разочарованные, ***холодные*** и бессердечные общества". ("Протокол № 4-й", с. 72).

Петров с его "***отталкивающей холодностью***" и одновременно с последующим его признанием того, что он "ошибся" в своей эгоистической стратегии. ("ИЗКП", с. 121, 126).

Вместе с тем "его дорога была ясно намечена — он шел к прокуратуре" ("ИЗКП", с. 121) В ПСМ, как уже отмечалось, эта дорога намечена именно в таком же направлении — институт адвокатуры будет превращен в простое подспорье

прокуратуры, "в простые докладчики дел в пользу правосудия в перевес прокурору". ("Протокол № 17-й", с. 114).

По разумению и по самой интриге "мудрецов" — "Адвокатура создает людей холодных, жестоких, упорных, беспринципных, становящихся во всех случаях на безличную, чисто легальную ***почву***" ("Протокол № 17-й ", с. 113).

Тот "холодный" Петров, будущий "известный московский адвокат", "почти квадратный крепыш", "энергичный, со стальным характером"

"высказывал мнение что следует менее "искать" и более опираться на "***существующий фундамент*".** "... строить на существующем фундаменте". ("ИЗКП", с.115, 117).

"***Осмотрю почву*** под ногами, найду точку опоры и начну действовать". ("ИЗКП", с. 117).

В ПСМ, отвергающих все прогрессистские иллюзии, последние дефинируются, среди прочего, так:

"фантастические проекты социальных благ". ("Протокол № 14-й", с. 102).

"измышления фантастических теорий". ("Протокол № 13-й", с. 100).

Петров, в сущности, совершенно повторяет те "тропы":

"... как ни привлекательны далекие горизонты — без точки опоры — это всё одна идеология". ("ИЗКП" с. 115).

Он же:

"Все же эти "борцы" напоминают мне, знаешь ли, паровоз, который на полных парах пустили по рельсам, а поезд прицепить забыли...

Он... все же в конце концов где-нибудь в местах отдаленных скувырнется..." ("ИЗКП", с. 119).

"Мудрецы" о провокационно-неэффективном характере "идейного" мученичества, этой, как уже говорилось, их специфической интриги:

"... в умно составленных учебниках истории, мы рекламировали мученичество, якобы принятое крамольниками на себя, за идею общего блага. Эта реклама увеличила контингент либералов и тысячи гоев в ряды нашего живого инвентаря". ("Протокол № 19-й ", с. 119)

"Живой инвентарь" — при этом должно еще раз вспомнить "скот и рабов" "новых европейцев", выгоняемых ими "на работу" в "Видении" ("ИЗКП", с. 45).

Но еще характернее пассаж Петрова, совпадающий с угрюмой иронией "мудрецов" по поводу "мученичества":

"Я не сторонник мученичества, хотя бы потому, что оно даже не доказательство истины, а лишь доказательство выносливости мученика". ("ИЗКП", с. 117).

В споре тех "иллюзий" и противоположной, чисто "силовой" исторической стратегии, Петров принимает не только сторону, но и саму "филологию", "жаргон" той стратегии.

"А ***пророками*** нам сказано, что мы избраны самим Богом на царство над всею землею". ("Протокол № 5-й", с. 74).

"Сила нашего преобладания", "наша интернациональная агентура, обладающая ***миллионами*** глаз". ("Протокол № 2-й", с. 64).

Петров, ополчаясь против "идеалистических" пророчеств, одновременно, собственно, указывает на условия исторического успеха других "пророков":

"Моменты ***пророчеств*** не были никогда моментами их осуществления — напротив современниками пророчества всегда считались безумием...

И теперь то же — проповедники, ***без миллионов,*** без власти, без точки опоры, только один из подлежащих избиению пророков, но для настоящего его значение равно нулю". ("ИЗКП", с. 75).

Современную цивилизацию ПСМ понимают исключительно как — "Государство, в котором ***плохая организация власти***..." ("Протокол № 1-й", с. 59).

Из речей Петрова:

Неразумная "***организация общественности",*** при которой "разумный принцип" уступает ситуации униженной "массы", "силы количественной", "а меньшинство, между тем, умеет авторитетно утверждать..." ("ИЗКП", с. 116).

Один из бесчисленных, но начальных демофобских пассажей ПСМ:

"Толпа" с "ее неспособностью понимать и уважать условия собственной жизни, собственного благополучия". ("Протокол № 1-й", с. 60).

Петров повторяет те же положения:

"Эта масса" — "сила количественная молчит, дважды два для нее по-прежнему стеариновая свечка, а не четыре, а меньшинство ест на ее глазах хлеб с маслом, отнимая, естественно, для своего масла — хлеб у этой количественной силы". ("ИЗКП", с. 116).

Далее в "Точке опоры" следуют параллели примерно того же типа.

"...мощь толпы слепая, неразумная, не рассуждающая, прислушивающаяся направо и налево". ("Протокол № 1-й", с. 60).

"Эта масса, за отсутствием точки опоры, современной, а не какой-либо лежащей вне пространства и времени, не может выделить и отграничить от себя необходимые тараны и стенобитные орудия". ("ИЗКП", с. 116).

"Мудрецы" о своих антагонистах:

"Мы посадили их на конька мечты о поглощении человеческой индивидуальности символической единицей коллективизма..." ("Протокол № 15-й", с. 106).

Точные языковые соответствия той "мечте" в речах Семенова, одного из таких "антагонистов": восторженный монолог "народника по призванию" об индивидуальной участи человека, растворяющегося в "человеческом море вплоть до девятого вала". "Они предвестники — за ними стихия несокрушимая...

И это грозно.

А отдели частицу стихии, хотя бы для того, чтобы лучше сохранить — что будет?..

Капля грязи..." ("ИЗКП", с. 118).

Итак, перед нами как бы "морской конек" той "мечты"...

Основной пароль ПСМ:

"Насилие должно быть принципом..." ("Протокол № 1-й", с. 61).

Петров, чисто риторически, принимает "принцип" оппонента — "интересы масс" прежде всего, но тут же обращается к принципу противоположному, то есть к тому же паролю:

"Что может быть в наших с тобой глазах, разумней того ***принципа,*** по которому интересы масс должны иметь преимущественное значение в организации общественности.

Однако посмотри..." ("ИЗКП", с. 116).

"Искусство управлять" "мудрецов" начинается с всеохватного понимания духовной структуры "большинства":

"Нам необходимо считаться с ***современными мыслями, характерами, тенденциями*** народов, чтобы не делать промахов в политике и в управлении административными делами". ("Протокол № 2-й", с. 65).

В сущности, Петров повторяет то же положение, но уже в связи с принципиальной беспомощностью той структуры:

"Эта масса" не в состоянии противостоять "меньшинству", которое "умеет авторитетно утверждать", — не в состоянии "за отсутствием ***точки*** опоры, ***современной...***" ("ИЗКП", с. 116).

"Мудрецы" пребывают при некоем абсолютном конформизме"зла", его первоприсутствия в истории.

"Это зло есть единственное средство добраться до цели, добра". ("Протокол № 1-й", с. 61).

Петров же постоянно повторяет тот тезис о легитимности существующего, хотя бы и отрицательного строя вещей, принципиального устроения истории:

"...хочу жить и строить... на существующем фундаменте". ("ИЗКП", с. 117).

Так и возникает сходство поведенческих моделей в обоих текстах.

"Мудрецы" прибегают к "диктатуре", "энергичному и сильному слову" — "Мы правим сильною волею". ("Протокол № 9-й", с. 83).

Петров, "энергичный, со стальным характером", выполняет, по его мнению, "задачу... человека с сильным характером". ("ИЗКП", с. 119).

"Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь ***применить, когда является нужным...***" ("Протокол № 1-й", с. 58).

Петров, иронически соглашаясь с "призывом к ***солидарности***" во имя "защиты прямых нужд" и "интересов ***масс***":

“Недостаточно иметь любовь к правде, но нужно уметь и найти правду и ***иметь искусство заставить ее оценить и пользоваться ею***...” (“ИЗКП”, с. 116)

“Мудрецы” в составлении своих “планов политического действия и солидарности” о своем “***искусстве управлять массами*** посредством ловко подстроенной теории и фразеологии, правилами общежития и всякими другими уловками...” (“Протокол № 5-й ”, с. 73).

Среди прочего, “антисемитизм нам нужен для ***управления нашими меньшими братьями”.*** (“Протокол № 9-й”, с. 83)

Петров: “А ***меньшинство***, между тем, умеет авторитетно утверждать...” (“ИЗКП”, с. 73).

ПСМ заканчиваются на обещании “счастья” некоего искусственного, “тоталитарного” свойства:

“Наша власть будет вершителем порядка, в котором и заключается все ***счастье*** людей”. (“Протокол № 22-й”, с.130).

“Точка опоры” заканчивается как бы вынужденно — апологией “счастья” в устах “народника по призванию”:

“Это правда — мы вечные странники — но разве не в этом залог нашего ***счастья***? ...Будем же все ***счастливы***!”

Петров же при встрече с Семеновым, давнишним своим оппонентом, как бы признавая свое поражение, вдруг спросил: “Ты ***счастлив***, Коля?” (“ИЗКП”, с. 123, 124, 126).

“Мудрецы” о том, чего же именно “наше самодержавное правительство будет избегать”, “когда мы воцаримся”, — “ради ***принципа самосохранения***”. (“Протокол № 20-й ”, с. 119).

Петров в завершение своей “диалектики”:

“Я хочу жить, хотя бы для этого и пришлось отгородиться от многого... Ведь это ничто иное как распространение ***принципа самосохранения*** и на свою личность, а разве это не одно из неоспоримых “прав личности...” (“ИЗКП”, с. 117–118).

Тем и заканчивается дискуссия о том, что в ПСМ называется “истинной точкой зрения” (“Протокол № 14-й ”, с. 102), которую, по их представлению, должно засекретить, заместив ее тем, что Петров назовет “точкой опоры”, официальной догмой своего эгоизма.

Вообще же сам мировоззренческий спор оппонент-"народник по призванию" заканчивает не просто радикальным несогласием, а несогласием, выраженным весьма характерно, — неким, скажем так, "еврейским" резонансом, как бы скрытой полемикой с ПСМ:

"Все это — грех против духа свята, духа истины... ***страха ради иудейска***". ("ИЗКП", с. 118).

III. “ДОКТОР-ФАУСТ. ОПЫТ КРИТИКИ БУРЖУАЗНОЙ МОРАЛИ”

“Протоколы сионских мудрецов” и названная брошюра М.В.Головинского начинаются в одном и том же стилистическом режиме — с указания на необходимость, “отложив фразерство”, выяснить “значение каждой мысли”, “осветив обстоятельства” в “Протоколах” и с сетования на то, что “значение” слов “принцип” и “идеал” (ключевые лексемы упомянутой брошюры), “если можно так выразиться, потускнело”.

И “Протоколы” и брошюра — именно в одной и той же стилистике! — изначально хлопочут о прояснении своих основоположных “значений”. Там — “***осветив*** обстоятельства”, здесь, указуя на то, что “значение” “потускнело” (очевиден один и тот же “оптический” образ, только расщепленный здесь в разных направлениях).

“***Отложив фразерство***, будем говорить о ***значении каждой мысли***, сравнениями и выводами ***осветим обстоятельства.***” (“Протокол № 1-й”; с. 57).

Сравни в брошюре Головинского (далее “ОКБМ”) раздел “О принципе и идеале. Определение этих понятий”:

“Слово — “принцип” и “идеал” употребляются так часто, что их ***значение***, если можно так выразиться, ***потускнело***. Но так как при изложении каких-либо положений необходима ***полная точность***, то мы будем пользоваться только понятиями, которым попытаемся дать определения”. (с. 5).

Итак, в самом начале первого “протокола” и в первых же строках основного текста брошюры бьет в глаза их удивительное стилевое сходство. Автор “Протоколов”, отвергая “фразерство”, обещает постоянное возвращение к “значению”

каждой предлагаемой “мысли” — автор брошюры, указывая на риторическую стертость слов-сигналов своих “положений”, в интересах их “полной точности” обещает нечто весьма похожее.

Вслед за тем в первом “протоколе”, в полном соответствии с основоположениями реакционной мысли, доказывается среди прочего, отвлеченный характер “политической свободы” как “идеи”, одно из центральных положений полемики “реакции” с “либерализмом” и “радикализмом”:

“Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь применять, когда является нужным идейной приманкой привлечь народные силы к своей партии...” (“Протокол № 1-й”, с. 58).

Брошюра М.Головинского в леворадикальной своей направленности сосредоточена именно на “идее” (здесь “идеале”), но она, что несколько “неожиданно” для автора-”радикала”, как бы соглашается с положением об отвлеченности “идеала”, о невозможности его полного общественно-исторического воплощения и соответственно — с положением о сугубой инструментальности “идеала”.

Итак, в начале “Протоколов” некую “идею” “надо уметь применять” в интересах политической нужды реакционного характера, в начале же “передовой” брошюры точно также говорится о процессуальности “принципа” и “идеала” как специфических орудий исторического движения.

“... жизнь — движение. Следовательно, ***принципы*** это — теоретическое начертание пути, которые дают возможность двигаться в определенном, ведущем к реализации идеала, направлении.

Принципы, как и всякая применяемая на практике теория, лишь частично достижимы. В силу этого, то же самое надо сказать и об идеале.” (с. 5).

Далее в “Протоколах” возникнет макиавеллистский образ “принципа” как специфической абстракции, подчас подчиняющей себе живую человеческую жизнь уже чисто полицейско-террористическими средствами, в виду высшей необходимости подчинения “личного” “общественному” (один из основных мотивов “Протоколов”).

"Ореол нашей власти требует целесообразных, т.е. жестоких наказаний за малейшее нарушение, ради личной выгоды, её высшего престижа. Потерпевший, хотя бы и не в мере своей вины, будет как бы солдатом, падающим на административном поле в пользу Власти, ***Принципа*** и Закона, которые не допускают отступления с общественной дороги на личную, от самих же правящих общественной колесницей." ("Протокол № 15-й"; с. 108).

"Протокольная" невозможность "отступления с общественной дороги на личную" совершенно — и идеологически, и стилистически — совпадает с "общественным" же пафосом "принципа" (здесь — "идеала") на первой же странице основного текста М.В.Головинского; одна и та же, в первом случае "праворадикальная", во втором — "леворадикальная" рука выводит буквально одно и то же:

невозможность "отступления ***с общественной дороги на личную***".

"***немыслим частный или личный идеал***, не находящийся в каком-либо отношении к ***социальному или общему идеалу***." (с. 5).

Но подчас стилевое сходство "Протоколов" и брошюры чередуется с идеологической полемикой между ними — и именно в первых же строках обоих текстов.

"Надо заметить, что люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых, поэтому лучшие результаты в управлении ими достигаются насилием и устрашением, а не академическими рассуждениями. Каждый человек стремится к власти, каждому хотелось бы сделаться диктатором, если бы только он мог, но при этом редкий не был бы готов жертвовать благами всех ради достижения благ своих.

Что сдерживало хищных животных, которых зовут людьми? Что ими руководило до сего времени?

В начале общественного строя они подчинились грубой и слепой силе, потом закону, который есть та же сила, только замаскированная. ***Вывожу заключение, что по закону естества право— в силе.*** ("Протокол № 1-й"; с. 57-58).

Но вот именно "академические рассуждения" открывают основной состав брошюры Головинского, стремящегося — уже в

первом ее разделе — к неким основополагающим "выводам", на которых и строится, по его мнению, человеческое существование.

"Многие причины, породившие недовольство существующим порядком вещей, настолько общепризнанны, что дают материал для ***выводов*** без особого труда. Мы сознаем вынужденную неполноту тех ***выводов и заключений***, на которых мы строим наш идеал, но мы не можем отказаться от намечаемых нами построений." (с. 6).

С удивительной последовательностью Головинский приступает как бы к опровержению главной посылки "Протоколов", начинающих с "выводов" и "заключений", "что по закону естества право — в силе":

"...изложение нового идеала надо начать с критики старого...

Для осуществления этой задачи пришлось бы начать с попытки изложить принятое наукой ***естественное основание*** человеческой морали. Затем пришлось бы обрисовать, с самого начала, различные представления о человеческом идеале, вырабатывавшиеся ***с ростом человеческого общества***." (с.5-6).

В режиме этих "различных представлений" Головинский теперь выдвигает абсолютную антитезу первоположениям "Протоколов" и в связи именно "с ростом человеческого общества" опровергает эти "протокольные" первоположения о человеке как существе с самого "начала общественного строя" подчинившемся навсегда "грубой и слепой силе",— противопоставляя таким "представлениям" совершенно иное "основание" человека и его "морали". Сравним:

раздел "О принципах и идеале. Определение этих понятий":

"Мы твердо убеждены, что счастье является единственно моральным состоянием человека, почему и считаем своею обязанностью найти причины нашего общего несчастья и пути (принципы), которые могли бы привести нас к счастью."

раздел "О счастье":

"Цель человеческой жизни это счастье, а счастье есть ничто иное, как развитие личности.

Средства достигнуть счастья это— принципы или пути, начертанные в целях реализации идеала." (с. 7). Это уже очевидная леворадикальная инверсия "ранее" сказанного:

"***Каждый человек*** стремится к власти"— "Наша власть будет вершителем порядка, в котором и заключается все ***счастье*** людей." ("Протокол № 22-й"; с. 130).

В заключение первого раздела брошюры Головинского говорится:

"Всякая ***истина*** настойчиво ищет свою ***формулу. Истина принадлежит всем, формулу делаем мы.*** Надеемся, что для тех, кто сумеет расширить слишком узкую формулу, истина появится в еще более величавом виде." (с. 6).

Самое начало "Протоколов":

"Итак, я ***формулирую*** нашу систему с нашей и гоевской точек зрения." ("Протокол №1-й"; с. 57).

Затем предлагается совсем другая версия "истины" и ее бытования:

"...истина одна, в ней нет места прогрессу. Прогресс, как ложная идея, служит к затемнению истины, что никто ее не узнал, кроме нас, Божиих избранников, хранителей её." ("Протокол № 13-й"; с. 100).

"Сегодня начинаю с повторения уже сказанного и прошу вас помнить, что правительства и народы в политике ***довольствуются показным***." ("Протокол № 10-й"; с. 85).

"***философии новых теорий***... ***Эти теории*** мы возведем в догмат веры... я вам прочту ***основания этих теорий***.

... мы поглотим и конфискуем последние проблески независимости мысли... ***Система обуздания мысли уже в действии***..." (Протокол № 16-й"; с. 113).

Наряду с прямым употреблением силы, современный строй прибегает с охранительной целью и к разного рода идеологическим ухищрениям.

"Отсюда— теории всех сортов, верования, ***моральные системы,*** идущие вразрез повелительным указаниям экономических отношений: ***если не насилие, так захват души*** — важнейшая опора строя, "устремления взоров на небо"— это лучший совет не видеть земли и... скрыть от других собственные, самые земные интересы.

Слишком много разговоров о небе, воистину слишком много: на земле от "небесного" становится душно и тесно.

Все спасено, если поместить счастье над землею,— вне жизни: “спасительная” ложь найдена...

Впоследствии мы попытаемся доказать, что такая концепция, рассматриваемая, как наиболее верная охрана современных “священных” интересов собственности, государства и т.д., вводит в заблуждение только тех, для кого созданы все эти миражи “общественного блага”, “государственной необходимости”, “патриотизма”... (с. 8).

Таков путь от “правого” к “левому”, инверсирующий в брошюре Головинского топику ПСМ.

Сравним также:

“Наша власть будет вершителем порядка, в котором и заключается всё счастье людей. Ореол этой власти внушит мистическое поклонение ей и благоговение перед ней народов.” (“Протокол № 22-й”; с. 130).

“ОКБМ”:

“Невежество и неспособность людей оценивать положение надлежащим образом, заставляя их подчиняться воздействию ***мрачных, непонятных сил власти.”*** (с. 29).

“Если этот мир замутится, то это будет означать, что нам нужно его замутить, чтобы расстроить слишком большую его ***солидарность.*** ” (“Протокол № 15-й”; с. 105).

“Уже и ныне в формах хотя бы французской журналистики сущест-вует масонская ***солидарность*** в пароле: все органы печати связаны между собою профессиональной тайной.” (“Протокол № 12-й”; с. 98).

“ОКМБ”:

“В обществе будущего”— “Редкость преступлений обусловится также и тем, что благодаря экономическому прогрессу, идея ***солидарности*** и необходимого сотрудничества все более и более будет проникать в сознание людей, разовьётся практика ***солидарности***...” (с. 22).

“В грядущие века”— “В безвластии, регламентированном любовью к ближнему, личным сознанием ***солидарности*** интересов, человек найдет вновь собственное достоинство и счастье не быть одиноким.” (с. 23).

“Настоящее всегда чревато будущим”— “Взаимоотношения

людей... должны привести к братским отношениям, при которых люди будут ***солидарны*** в действиях, в деятельной любви, трудовой деятельности, творящей всеобщее счастье, единственное счастье — свое и всех." (с. 25).

Моральный ландшафт современности и в "Протоколах" и в названной брошюре, в общем, совпадает, даже по самой лексике своих описаний, но предстает в разных "моральных" оценках: одобрительной в первом случае, отрицательной во втором. Но само сходство текстов очевидно.

"Надо заметить, что люди с дурными инстинктами ***многочисленнее*** добрых, поэтому лучшие результаты в управлении ими достигаются насилием или устрашением, а не академическими рассуждениями. Каждый человек стремится ко власти, каждому хотелось бы сделаться диктатором, если бы он только мог, но ***при этом редкий не был бы готов пожертвовать благами всех ради достижения благ своих.*** ("Протокол № 1-й"; с. 57).

Ср. также: "Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь применять, когда является нужной ***идейной приманкой*** привлечь народные силы..." ("Протокол № 1-й", с. 58).

О счастье в "ОКБМ":

"Если эти пути являются путями ***громадного большинства*** — счастье возможно; моральное состояние человека (счастье) является следствием такого положения.

Наоборот, если общественная организация является ничем иным, как строем несправедливостей, уничтожающим всякую возможность развития для ***большинства личностей***, то счастье (очень неполное, но отчасти удовлетворяющее нескольких привилегированных лиц положение, при наличности отрицательной реакции других) заключает в себе свое собственное противоречие: оно не-морально, т.е. невозможно; таким образом, если мыслимо "буржуазное благосостояние", оно может существовать не иначе, как в виде несчастья для ***громадного большинства.***

Всякая другая схема, утверждающая, что человеческая жизнь имеет своею целью самопожертвование или долг, или

надежду на будущую жизнь, ***является только приманкой,*** и к тому же приманкой очень грубой и вредной. (с. 7).

ПСМ:

“Что сдерживало хищных животных, которых зовут людьми? Что ими руководило до сего времени?

В начале общественного строя они подчинились ***грубой*** и слепой ***силе***, потом — закону, который есть та же сила, только замаскированная. Вывожу заключение, что по закону естества право — в силе.” (“Протокол № 1-й”; с. 58).

“Наше право — в силе. Слово “право” есть отвлеченная и ничем недоказанная мысль. Слово это означает не более, как: дайте мне то, чего я хочу, чтобы я тем самым получил доказательство, что я сильнее вас.

Где начинается право? Где оно кончается?

В государстве, в котором плохая организация власти, ***безличие законов и правителя, обезличенных размножившимися от либерализма правами,*** я черпаю новое право — броситься по праву сильного и разнести все существующие порядки и установления, наложить руки на законы, перестроить все учреждения и сделаться владыкою тех, которые предоставили нам права своей силы, отказавшись от них добровольно, либерально...” (“Протокол № 1-й”; с. 59–60).

“ОКБМ”:

“... ничто так не ***безлично***, как физиономия лакея, солдата, по-лицейского: это — служители известного строя, они не имеют индивидуальности, так как “***личность***” никогда не может быть слугою (рабом приказа), но всегда является сотрудником, союзником, работником.” (с. 30).

“Мы не ставим здесь заглавия: “обязанности личности по отношению к государству”, так как не считаем идею обязательности моральной концепцией.

Но, скажут нам, если вы говорите о правах, то не можете не признавать и обязанностей.

Если понимать под словом “право” совокупность чуждых уголов-ной и принудительной санкции отношений между единицей и коллективом, то только это приведенное замечание можно считать верным.

"Обязанность" и "право" тесно связаны с понятием силы, с идеей принуждения, т.е. с одной из закоренелых безнравственностей современного общества.

Мы предвидим возможность такого общества, которому будет вполне чужд и враждебен принцип принуждения и наказания." (с. 20).

"***Грубая сила*** начальника (победителя) является в роли непосредственно действующего стимула и она очень действительна, но не имеет будущности. Ничто не делает человека более изобретательным нежели желание освободиться от навязанной необходимости (приказа). Такая необходимость с полным основанием рассматривается человеком, как нечто во много раз более невыносимое, чем необходимость (непосредственная) простая; дело в том, что навязанная необходимость является результатом не только невыгодно сложившихся обстоятельств, но и несправедливости." (с. 27).

ПСМ:

"Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь применять, когда является нужным идейной приманкой привлечь ***народные силы*** к своей партии, если таковая задумала сломить другую, у власти находящуюся... Тут-то и проявится торжество нашей теории: распущенные бразды правления тотчас же по закону бытия подхватываются и подбираются новой рукой, ***потому что слепая сила народа дня не может пробыть без руководителя..."*** ("Протокол № 1-й", с. 58).

"ОКБМ":

"... жизнь — движение... Принципы, как и всякая применяемая на практике теория, лишь частично достижимы. ***В силу этого то же самое можно сказать и об идеале.*** Но, так как полное достижение идеала явилось бы остановкой движения, то и идеал, всегда частично достигаемый, не может никогда быть достигнут. Идеал — это весь план, во всей совокупности. Ясно, что ни идеал, ни совокупность проводящих его в жизнь положений (путей — т.е. принципов), — даже теоретически, — не могут быть изложены вне связи со средой и ***действующими в этой среде факторами***." (с. 5).

"Привилегированные классы хорошо понимают, что число массы — ***это сила***, но эти классы прекрасно знают, что ***это***

сила ещё не осознавшая себя и неорганизованная. При таком положении дел, однако, не существует безусловной гарантии сохранения строя. Временным перевесом силы... нельзя вечно сохранять status quo.” (с. 8).

ПСМ:

“тайна происходящего — бывшего и текущего, стремящегося в поток великих, грядущих уже в близком будущем событий”. (“Протокол № 22-й ”, с. 129).

“Злоупотребления властью окончательно подготовят все учреждения к падению, и ***всё полетит вверх ногами под ударами обезумевшей толпы.***” (“Протокол № 3-й”, с. 67).

“Создав всеми доступными нам подпольными путями с помощью золота, которое всё в наших руках, общий экономический кризис, ***мы бросим на улицы целые толпы рабочих одновременно во всех странах Европы. Эти толпы с наслаждением бросятся проливать кровь тех, кому они, в простоте своего поведения, завидуют с детства,*** и чьи имущества им можно будет тогда грабить.” (“Протокол № 3-й”, с. 69).

“ОКБМ”:

Один из признаков всеобщего кризиса строя — кризис семьи с её “произволом родителей” “и главной причиной этих лицемерных и тиранических отношений является вновь играющая свою фатальную роль индивидуальная собственность. Семья превращается в ад, так же, как труд превращен в проклятье.

Оглядываясь на всё сказанное, нельзя не придти к заключению, что счастье, т.е. интегральное развитие личности, не совместимо, в современном обществе, ни с существующей организацией труда, ни с собственностью, ни с семьею.

Такое положение вещей безошибочный признак смертельной болезни того нравственного и социального строя, которого придерживается современное большинство, признак указывающий ***на грядущий разгром буржуазного общества...***” (с. 20).

ПСМ:

“Вспомните французскую революцию, которой мы дали имя “великой”. (Протокол № 3-й”; с. 69).

“ОКБМ”:

"Свобода . Равенство. Братство".

"Эти три ***великие*** слова, которые еще вчера были истиной, а сегодня уже ***ложь***" (с. 23).

"русская революция"— "отказалась от ошибки французской революции, утверждающей собственность" (с. 4).

ПСМ:

"Народ под нашим руководством уничтожил аристократию, которая была его естественной защитой и кормилицей ради собственных выгод, неразрывно связанных с народным благосостоянием. Теперь же, с уничтожением аристократии, он попал под гнет кулачества, разжившихся пройдох, насевших на рабочих безжалостным ярмом". ("Протокол № 3-й"; с. 67–68).

"Свобода, равенство, братство" — "эти слова были червяками, которые подтачивали благосостояние гоев, уничтожали всюду мир, спокойствие, солидарность, разрушая все основы их государств. Вы увидите впоследствии, что это послужило к нашему торжеству: это нам дало возможность между прочим, добиться важнейшего козыря в наши руки — уничтожения привилегий, иначе говоря, самой сущности аристократии гоев, которая была единственной против нас защитой народов и стран." ("Протокол № 1-й"; с. 63).

"ОКБМ":

"Пользуясь несознательными народными массами, капитал уничтожил все привилегии, которыми не обладали капиталисты для того, чтобы сохранить единственную привилегию капитала. Для капиталистов и буржуазии было ясно, что все те привилегии, которыми они не обладают — чужие привилегии — несправедливость, их же собственные требования привилегий капитала — закон и осуществление справедливости." (с. 23).

"Даже поверхностный взгляд на экономический строй указывает, что сохранение собственности не является необходимым; собственность даже вредна не только для интегрального развития общества, но даже интегрального развития индивидуумов, самих собственников. С каждым днем собственность все более становится тем, что римляне называли "privilegium odiosum" (с. 12).

ПСМ:

"Народы прикованы к тяжелому труду бедностью сильнее, чем их приковывало рабство и крепостное право, от них так или иначе могли освободиться, могли с ними считаться, ***а от нужды они не оторвутся***. Мы включили к конституцию такие права, которые для масс являются фиктивными, а не действительными правами." ("Протокол № 3-й"; с. 67).

"Еще в древние времена мы среди народа впервые крикнули слова: "свобода, равенство, братство", слова, столь много раз повторенные с тех пор бессознательными попугаями, отовсюду налетевшими на эти приманки." ("Протокол № 1-й", с. 62).

"ОКБМ":

"Основываясь на ***равном праве*** пользоваться собственностью, ***свобода*** создала всю современную промышленность и такое положение дел, которое нельзя назвать внутренней и внешней войной, но которое нельзя назвать и миром, так как мир — это ничто иное, как добросовестное сотрудничество индивидуумов. Такое положение дел характеризуется тем, ***что материальная нужда является фактором принуждения*** "заставляет трудиться", а имущество (собственность) защищается угрозами наказаний и репрессий.

Закон и полиция; вот гарантия современной свободы и равенства, — общественное равновесие покоится на насилии." (с. 23–24).

ПСМ:

"Власть, Принцип и Закон, которые не допускают отступления с общественной дороги на личную..." ("Протокол № 15-й"; с. 108).

"Интеллигенты гоев будут кичиться знаниями и, ***без логической их проверки***, проведут в действие все почерпнутые из науки сведения, скомбинированные нашими агентами с целью воспитания умов в нужном для нас направлении.

Вы не думайте, что утверждения наши голословны: обратите внимание на подстроенные нами успехи ***Дарвинизма, Марксизма, Нитцшетизма***. Растлевающее значение для гоевских умов этих направлений нам-то, по крайней мере, должно быть очевидно". ("Протокол № 2-й"; с. 64-65).

"Может ли здравый логический ум надеяться успешно руководить толпами при помощи разумных увещаний или уговоров при возможности противоречия хотя бы и бессмысленного, но которое может показаться народу более приятным?" ("Протокол № 1-й"; с. 59).

"ОКБМ":

"Борьба человека с людьми же, во время которой один человек становится в такое же отношение к другому, как волк к волку (homo homini lupus) была объяснена и почти оправдана, найденным в биологии сравнением.

Борьба за существование, удаление слабых и т.п. всё это чуть ли не является принципом морали, при помощи которого, ***чтобы найти логическую ошибку таких толкований*** достаточно сказать, что сравнение — не доказательство. Социальная борьба ничто иное, как искажение трудового начала, трудовая деятельность не может и не должна быть использована какой-либо группой за счет других групп". (с. 25–26).

ПСМ:

"В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если мы ею добьемся покорности и власти.

Наше государство, шествуя путем мирного завоевания, имеет право заменить ужасы войны менее заметными и более целесообразными казнями, которыми надобно поддерживать террор, располагающий к слепому послушанию. Справедливая, но неумолимая строгость есть величайший фактор государственной силы: не только ради выгоды, но и во имя долга, нам надо держаться программы насилия и лицемерия". ("Протокол № 1-й"; с. 62).

"Абстракция свободы дала возможность убедить толпы, что правительство ничто иное, как управляющий собственника страны — народа и что его можно сменять, как изношенные перчатки." ("Протокол № 1-й"; с. 63).

"ОКБМ":

"Присматриваясь к современному обществу, мы вынуждены признать, что существование собственности — это пережиток прошлого и результат ошибочной точки зрения." (с. 14).

"Достаточно отряхнуть пыль веков, скрывающую от нас характер обязанностей гражданина по отношению к государству для того, чтобы констатировать, что последнее, благодаря странной узурпации власти, присваивает себе право смерти над гражданами, тогда как в действительности оно имеет лишь одну обязанность — гарантировать им жизнь, сначала защищая граждан, а затем и обеспечивая им существование; что государство — этот Молох, имеющий претензию создать себе особые цели — увеличение территории, претендующий на право войны в целях усиления национального значения, — имеет в сущности только одну единственную и священную обязанность: — всеми средствами гарантировать существование индивидууму..." (с. 14).

ПСМ:

В ситуации того или иного кризиса государство от "пропасти", куда оно "катится", спасает единственно "***деспотизм капитала, который весь в нашей власти***". — "Того, который от либеральной души сказал бы, ***что рассуждения такого рода безнравственны***, я спрошу: если у каждого государства два врага, и, если по отношению к внешнему врагу ему дозволено и не почитается безнравственным употреблять всякие меры борьбы... то почему же такие меры в отношении худшего врага, нарушителя общественного строя и благоденствия, можно назвать недозволенными и безнравственными?" ("Протокол № 1-й"; с. 58–59).

"ОКБМ":

"До сего времени не было еще государства, которое бы считало себя обязанным доставлять пищу умирающему от голода гражданину...

Хотя нравственное чувство буржуазии и может возмущаться фактом смерти от голода в центре богатого города какого-либо несчастного, но все-таки многим покажется нелепой мысль о том, что жена или дети умершего от голода могут начать на этом основании процесс с государством." (с. 12).

"В современном обществе лишь известное количество индивидуумов обладают капиталом; эти господа видят в своем привилегированном положении наиболее важные гарантии своего

счастья, т.е. интегрального развития своих личностей: они думают, что несмотря на угнетение других людей — счастье для них, их "собственное" счастье возможно." (с. 7-8).

ПСМ:

"Сверхправительство находится в таких ***экстралегальных*** условиях, которые принято называть энергичным и сильным словом — ***диктатура.***" ("Протокол № 9-й"; с. 83).

"Наше правление, в котором царь будет иметь ***легальную фикцию принадлежности ему всего, что находится в его государстве*** (что легко перевести на дело), может прибегнуть к законному изъятию всяких сумм для регулирования их обращения в государстве... ***Такая мера уничтожит ненависть бедняка к богачу."*** ("Протокол № 20-й"; с. 120).

"ОКБМ":

"... в настоящее время для индивидуума есть только два способа существовать, быть собственником или быть рабочим, т.е. найти работу или умереть.

Права жить вне этих условий не существует; если и встречаются тем не менее индивидуумы, которые не подходят под эти категории, то они живут ***экстрасоциальным,*** так сказать, образом, — как объек-ты правительственного попечения в приютах или тюрьмах." (с. 16).

"Цель переворота (***временная диктатура пролетариата***) не сводится к тому, чтобы перемешать в общей нищете, как тех, ***кто не знал нищеты, так и тех, кто страдал от нее***, но к тому, чтобы направить общее усилие к единственной цели: интегральному развитию всех и каждого и к обеспечению этой цели личными и совокупными усилиями." (с. 26–27).

ПСМ:

"Ныне гоевские судьи творят поблажки всяким преступлениям, не имея правильного представления о своем назначении". ("Протокол № 15-й"; с. 109).

"ОКБМ":

В будущем — "Не будет места, конечно, и для глубоко комичной (если бы она не была такой трагической) деятельности судьи, так как нужно иметь очень странное и узкое представление о действительности для того, чтобы допустить,

чтобы один человек, каков бы он ни был, мог быть, по профессии, судьею всего происходящего среди индивидуумов." (с. 21).

ПСМ:

"Смерть есть неизбежный конец для всякого. Лучше этот конец приблизить к тем, кто мешает нашему делу, чем к нашим, к нам, создателям этого дела". ("Протокол № 15-й"; с. 106).

"ОКБМ":

"Чем можно развить наши органы — их функционированием. Чем является для органа отсутствие деятельности. Смертью через короткий срок. Для всех существ это — наиболее неумолимый и наиболее доказанный из всех законов." (с. 9).

"Если мы, как птицы небесные, не должны заботиться о завтрашнем дне, труд может быть или проклятием, или своеобразным спортом, спортом душеукрепления, убиения материи, тела.

Всякое человеческое страдание ведет к умерщвлению тела; оставаясь логичной, христианская идея не может не привести к самоубийству, как к наиболее радикальному средству для торжества души над телом. Но христианская идея лишь намечает этот вывод. Допуская самоубийство для своего основателя, который, будучи всемогущим, позволил распять себя, она разрешает адептам великого галилеянина только мученичество. Тем не менее, избрание медленного или быстрого способа смерти — в обоих случаях — это торжество смерти." (с. 9).

ПСМ:

"Владыка, который сменит ныне существующие правления, влачащие свое существование среди деморализованных нами обществ, отрекающихся даже от Божеской власти, из среды которых выступает со всех сторон огонь анархии, прежде всего должен приступить к заливанию этого всепожирающего пламени." ("Протокол № 23-й"; с. 131).

"ОКБМ":

"... неизбежен за социализмом и последующий шаг, истинное братство самоопределяющихся личностей (Эгархия)." (с. 25).

ПСМ:

"Когда мы взойдем на престол мира, то все ... ***финансовые извороты*** ... будут уничтожены бесследно, как будут уничтожены и все ***фондовые биржи,*** так как мы не допустим колебать престиж нашей власти колебанием цен на наши ценности..." ("Протокол № 21-й"; с. 128).

"Протокол № 17-й" начинается с диатрибы, направленной против самого института "адвокатуры", которая "создает людей холодных, жестоких, упорных, беспринципных, становящихся на безличную, чисто легальную почву. Они приучились всё относить к выгоде защиты, а не к социальному благу её результатов... этим они деморализуют суд." ("Протокол № 17-й"; с. 113–114).

"ОКБМ":

"... деятельность не только бесполезная, но и вредная для общества, хотя бы она приносила в то же время громадную пользу индивидууму, напр., ***биржевая спекуляция***, военная служба, ***деятельность адвоката,*** — далеко не заслуживает имени труда, являясь антиобщественным делом, безнравственным деянием..." (с. 10).

ПСМ:

"Чтобы снять престиж доблести с политического преступления, мы посадим его на скамью подсудимых наряду с воровством, убийством и всяким отвратительным и грязным преступлением. Тогда общественное мнение сольет, в своем представлении, этот разряд преступлений с позором всякого другого и заклеймит его с одинаковым презрением." ("Протокол № 19-й"; с. 119).

"ОКБМ":

"Слепое орудие прогресса,— преступники подавляются таким же слепым и преступным, как и они, обществом: Герой только тот, кто сознает значение своего поступка и оценивает его не столько с личной, сколько с общественной точки зрения...

Однако даже буржуазная мораль не квалифицирует, как кражу, сознательное отрицание прав собственности группой индивидуумов, не преследующих личных целей.

Русских максималистов, грабивших банки, никто без сомнения не назовет ни ворами, ни грабителями. ” (с. 17).

Весьма возможно, что автор имеет в виду не только общий “террористический” стиль “максимализма” тех лет, но конкретно челябинский процесс в сентябре 1910 г. над группой большевиков-”экспроприаторов”, совершивших в августе 1909 г. самое дерзкое ограбление почтового поезда. Подсудимых защищал среди других лучших адвокатов России, А.Ф.Керенский. “Группа русских писателей” за границей (Горький, Луначарский и др.) опубликовали там воззвание к “честным людям мира” с требованием спасти подсудимых от “неумолимого суда царя” (см. Генрих Иоффе. Революция и судьба Романовых. М. “Республика”. 1992, с. 170–171).

По-видимому Головинский был свидетелем соответствующих усилий в русско-парижской революционной и либеральной колонии.

ПСМ:

“Скоро мы станем через прессу предлагать конкурсные состязания в искусстве, спорт всех видов: эти интересы отвлекут окончательно умы от вопросов, на которых нам пришлось бы с ними бороться”. (“Протокол № 13-й”; с. 100).

“Отвыкая всё более и более от самостоятельного мышления, люди заговорят в унисон с нами, потому что мы одни станем предлагать ***новые направления мысли.***” (“Протокол № 13-й”; с. 100).

“ОКБМ”:

“На очередь поставлен вопрос о физической культуре тела, которое делает то, что мы называем душой, ***и эта культура создаст равновесие между умом, освещающим путь,*** совестью — ***сознанием, вырабатывающим отношение к внешней среде (обществу)*** и волей исполняющей, проводящей в жизнь, под воздействием среды — линию характера (субъекта)” (с. 3–4).

ПСМ:

“Наша власть будет славною, потому что она будет могущественна, будет править и руководить, а не плестись за лидерами и ораторами, выкрикивающими безумные слова, которые они называют великими принципами и которые

ничто иное, говоря по совести, как утопия... ***истинная сила не поступается никаким правом, даже Божественным:*** никто не смеет приступить к ней, чтобы отнять у нее хотя бы пядь её мощи." ("Протокол № 22-й"; с. 130).

"ОКБМ":

"... наилучшие условия существования и развития всех людей являются единственным и законченным, ***истинно божественным правом человека,*** живущего в обществе и обязанностью общества по отношению к человеку." (с.15).

ПСМ:

"Такая организация искоренит злоупотребления властью, силой, подкупом — всё то, что мы ввели нашими советами, теориями сверхчеловеческих прав в привычки гоев..." ("Протокол № 17-й"; с. 116).

"ОКБМ":

"Договоры— клочки бумаги... в современном обществе для наиболее сильных репрессии смягчаются, если речь идет об исключительных индивидуумах (короли, банкиры и т.п.)" (с. 24).

ПСМ:

"Этот избранник Божий назначен свыше, чтобы сломить ***безумные силы***, движимые инстинктом, а не разумом, животностью, а не человечностью. ***Эти силы*** теперь торжествуют ***в проявлениях грабительства и всякого насилия под личиною принципов свободы и прав***." ("Протокол № 23-й"; с. 131).

"ОКБМ":

"Принципы свободы и равенства, провозглашенные французской революцией указывали лишь на промежуточное состояние общества, содержащее в себе эмбрион братства." (с. 25)

"Обязанность" и "***право***" тесно связанны с понятием ***силы***, с идеей принуждения, т.е. с одной из закоренелых безнравственностей современного общества...

В коллективе грядущего... все эгоистические факторы, которые побуждают ***отнимать у любого индивидуума самое необходимое*** и вырывать у соседа последний кусок хлеба, не будут иметь места. ***Право*** каждой личности на интегральное развитие получит общее признание; ***осуществление этого права не будет связано с необходимостью преступления***." (с.20-21).

ПСМ:

“... свобода могла бы быть безвредной и просуществовать в государственном обиходе без ущерба для благоденствия народов, если бы она держалась на принципе веры в Бога, ***на братстве человечества***, вне мысли о равенстве, которому противоречат сами законы творения, установившие подвластность.” (“Протокол № 4-й”; с. 71).

“Мы уничтожим всякое свободное преподавание... преподаватели будут читать якобы свободные лекции о вопросах человеческих отношений, о законах примера, о репрессалиях, рождающихся от ***бессознательных отношений*** и наконец о философии новых теорий, еще не явленных миру.” (“Протокол № 16-й”; с. 112–113).

“ОКБМ”:

“если в крови и ужасе вернется реакция, если падет и немногое созданное, то все же, со следующим оборотом колеса истории, неуловимая (***подсознательная***) жизнь масс еще более приблизит нас к идеалу...” (с. 4).

“Пользуясь ***несознательными*** народными массами, капитал уничтожил все привилегии, которыми не обладали капиталисты.” (с. 23).

ПСМ:

“... люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых, поэтому лучшие результаты ***в управлении ими*** достигаются насилием и устрашением, а не академическими рассуждениями.” (“Протокол № 1-й”; с. 57).

“ОКБМ”

“... на пути к счастью к расцвету личности, нужна согласованная организация труда и распределения, распределение вещей, ***а не управление людей...***” (с. 4).

ПСМ:

“Когда мы ввели в государственный организм яд либерализма, вся его политическая комплекция изменилась: государство заболело смертельною болезнью — разложением крови. ***Остается ожидать конца их агонии.***” (“Протокол №10-й”; с. 88).

“ОКБМ”:

"Во что бы то ни стало сохраняй внешность ("лицо" у китайцев) для того, чтобы скрыть внутреннюю порчу нашей организации, ***кричит в своей агонии умирающее общество.*** " (с. 29).

ПСМ:

"... Отложив фразерство, будем говорить о значении каждой мысли, ***сравнениями и выводами*** осветим обстоятельства." ("Протокол № 1-й"; с. 57).

"ОКБМ"

"Многие причины, породившие недовольство существующим порядком вещей, настолько общепризнаны, что дают материал для ***выводов*** без особого труда. Мы сознаем вынужденную неполноту тех ***выводов*** и заключений, на которых мы строим наш идеал, но мы не можем отказаться от намечаемых нами построений." (с. 6).

"Борьба человека с людьми же, во время которой один человек становится в такое же отношение к другому, как волк к волку (homo homini lupus) была объяснена и почти оправдана, найденным в биологии сравнением.

Борьба за существование, удаление слабых и т.п. всё это чуть ли не является принципом морали, при помощи которого пытаются оправдать буржуазную организацию коллектива. Для того, чтобы найти логическую ошибку таких толкований достаточно сказать, что ***сравнение — не доказательство.*** " (с. 25).

ПСМ:

"Якобы умные, интеллигентные гои не разобрались в отвлеченности произнесенных слов, не заметили противоречия их значения и соответствия их между собою, не увидели, что ***в природе нет равенства***, не может быть свободы, что ***сама природа установила неравенство*** умов, характеров и способностей, равно и подвластность её законам..." ("Протокол № 1-й"; с. 62).

"равенство", "***которому противоречат сами законы творения, установившие подвластность.***" ("Протокол № 4-й"; с. 71).

"ОКБМ" (раздел "Свобода. Равенство. Братство"):

"Эти три великие слова, которые ещё вчера были истиной, а сегодня уже ложь" (с. 23).

ПСМ:

"Свобода совести провозглашена теперь всюду, следовательно, нас только годы отделяют от момента крушения христианской религии". ("Протокол № 17-й"; с. 114).

"... мы должны разрушить всякие верования". ("Протокол № 14-й"; с. 101).

"ОКБМ":

"Христианский идеал"— "Нет сомнения, что экономические условия буржуазного общества выковали этот идеал, как моральное оправдание всей современной безнравственности. Нет сомнения, что экономические условия, которые пересоздадут общество, и экономическая эволюция найдут свою формулу и в новом идеале, который мы стараемся здесь наметить." (с. 11).

ПСМ:

"Нам необходимо, чтобы войны, по возможности, не давали территориальных выгод." ("Протокол № 2-й"; с. 64).

"... наши международные права сотрут народные в собственном смысле права." ("Протокол № 2-й"; с. 64).

"ОКБМ":

"...государство — этот Молох, имеющий претензию создать себе особые цели — увеличение территории, претендующей на право войны в целях усиления национального значения." (с. 14).

"Закон в виду трудности силой поддерживать его санкцию в отношениях между народами, осуществляется в самых скромных размерах. Договоры — клочки бумаги." (с. 24).

ПСМ:

"Вспомните пример того, как залитая кровью Италия не коснулась волоса с головы Силлы, который пролил эту кровь: Силла ***обоготворился*** своею ***мощью*** в глазах народа". ("Протокол № 15-й", с. 104).

"ОКБМ":

"Индивидуальный идеал всецело сольется с идеалом коллективным и с идеалом всего человечества: всё вместе взятое явится ***мощным*** усилием по направлению к ***обоготворению*** человека, к его счастью." (с. 32).

ПСМ:

“Царские планы действий текущего момента, а тем более, будущего, будут неведомы даже тем, которых назовут ближними советниками.

Только царь, да посвятившие его ***трое будут знать грядущее***.” (“Протокол 24-й”, с. 132–133).

“От автора” в “ОКБМ”:

“три революции”— “французская революция”, “русская революция”, “***Третья*** революция, которая, наконец, положит прочные основы творчеству человека, будет созданием новых форм, объединенных трудом личностей на путях к идеалу личному, совпадающему с общим идеалом.

Привет ***грядущему***.” (с. 4).

IV. “ЧЕРНАЯ КНИГА ГЕРМАНСКИХ ЗВЕРСТВ”

“Черная Книга германских зверств. Под редакцией и со вступительной статьей д-ра М.В.Головинского. 9-ая тысяча. Цена 60 коп. С.Петербург. 1914. 56 с.” — в высшей степени типичное пропагандистское производное от шовинистической истерии-1914, охватившей решительно все воюющие стороны (а подчас и некоторые нейтральные страны). То была эпоха ранее в мировой истории невиданной по своей агрессивности ксенофобии, обрушившейся решительно на всех участников тогдашней европейской драмы, что, впрочем, было обусловлено не столько иррациональными вспышками межнациональной ненависти, — явление в той истории весьма известное, сколько также вполне целенаправленными действиями тех или иных институтов, действиями, на самом деле впервые в истории помноженными в той своей неизбывной иррациональности — на новые коммуникативные возможности современной технологии, на язык больших демографических и других чисел, язык массового тиража, то есть на внешне рационалистические тенденции индустриальной эпохи.

Брошюра М.В.Головинского — не лучше и не хуже мириадов других сходных текстов во “вселенной” тогдашней пропаганды, создаваемых всеми участниками мирового конфликта — без особенных различий в национальных подразделениях той “вселенной”, развертывающихся в поразительно сходном, бесконечно монотонном режиме их “поэтики” и “стилистики”.

Но “Черная Книга германских зверств” в исполнении Головинского зловеще интересна как несколько пародийное превращение “Протоколов сионских мудрецов”: вместо тех

"мудрецов" здесь появляются "германцы", действующие куда более безжалостно и уже не в подполье кризисной цивилизации, а откровенно-брутально, при полном "свете" тогдашнего, столь сумеречного исторического "дня". Вместе с тем основная схема "Протоколов" в "Черной Книге" вполне сохраняется, лишь переменив свои национальные адреса и представления о способе действий мирового зла: в этом историческом случае оно развертывается уже в режиме не конспирации, а ужасающей псевдолегитимности.

"Черная Книга германских зверств" — это как бы действия "сионских мудрецов", мгновенно, в несколько июльских дней 1914 года, вышедших на историческую поверхность (брошюра посвящена "зверствам" немецких властей и обывателей при насильственной депортации российских подданных в те дни — первый раздел, а также "черным дням Калиша, Ченстохова, Андреева и Вержболова" — название второго раздела — в первые дни и даже часы военных действий).

Разумеется, брошюра Головинского с ее чудовищными гиперболами, бестиализирующая целый народ, как уже отмечалось, ничем не отличается от соответствующей прикладной словесности, непрестанно сходившей с пропагандистского конвейера, с совершенно обезумевшего в те дни европейского печатного станка. Единственно интересно в ней именно то, что здесь резонирует "Протоколами", продолжает их — идеологически, композиционно и даже стилистически.

"Черная Книга" по самому своему жанру — "протокольное" собрание "фактов", равных некоему идеологическо-историческому откровению. В обращении к "Русскому читателю", открывающем "Книгу", об этом говорится так:

"Действительность иногда бывает неожиданнее всякой фантазии и ужаснее всякого кошмара. Нам не нужно ни сильных выражений, ни красочных сравнений для того, чтобы изобразить весь ужас передаваемых нами фактов, которые всякого беспристрастного историка заставят записать современных немцев в "Черную Книгу" варваров и дикарей. Бесконечный вопль страданий несчастной Туган-Барановской, у которой сдирают кожу с черепа, плач детей героя долга казначея Соколова, искалечен-

ные жизни изнасилованных в Ченстохове, крики несчастных, сошедших с ума во время ужасного обратного путешествия из Германии, все эти картины так живо стоят перед глазами каждого русского, что не нуждаются в особом художественном таланте для их изложения" ("Черная Книга", с. 3).

Завершается же "Книга" следующим жанровым самоопределением:

"... В эту книгу вошел лишь безыскуственный рассказ о первомучениках нашего крестового похода за освобождение народов от германского ига.

Это — отчет о страданиях и пролитой крови беззащитных". (с.56).

Очевидно, что "все эти картины", при всех их неимоверных пропагандистских преувеличениях, стремятся предстать именно "действительностью", "отчетом", что необходимо возвращает нас к "Протоколам". Но если "кошмары" и "фантазии" последних достаточно абстрактны, то на этот раз они в самых крайних и безапелляционных жанровых формах заявляют о себе в виде строго "документированного" "отчета". "Черная Книга" — это поспешный монтаж "фактов", упавших на голову русского читателя в самые первые дни войны со страниц тогдашних газет, работавших в яростном пропагандистском режиме, иногда уже совершенно фантастической направленности..

"Факты" эти Головинский выбирает в направлении прежде всего пессимистической антропологии "Протоколов", заявленных уже в первых их параграфах, пронизанных мотивом бестиальности человека, животного в нем начала как ведущего и непрестанно вырывающегося на поверхность и частной и общественной жизни.

"... люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых, поэтому лучшие результаты в управлении ими достигаются насилием и устрашением... каждому хотелось бы сделаться диктатором..." ("Протокол 1-й"; с. 57).

"Что сдерживало хищных животных, которых зовут людьми? Что ими руководило до сего времени? ... по закону естества право — в силе" ("Протокол 1-й"; с. 58).

"Черная Книга" в изобилии иллюстрирует разгул "дурных инстинктов", поведение "хищных животных, которых зовут людьми" — да ещё в массовом, подчеркнуто стадном, "общенациональном" их проявлении. "Толпа — варвар, проявляющий свое варварство при каждом случае" ("Протокол 1-й"; с. 61) — "факты", собранные Головинским, ставят своей целью "записать современных немцев в "Черную книгу" варваров и дикарей" ("Черная книга", с.3), убедить читателя, что "немецкий духоносец" "упал до состояния грабителя, дикаря и насильника" (там же).

"Черная книга" продолжает "Протоколы" подчас даже стилистически, едва ли не "цитируя" их (в частности, специально русские их "тропы").

В начале "Протоколов" говорится о засилии "сионских мудрецов" в прессе, долженствующей "передавать жалобы народного голоса" — и так как "государства не умели воспользоваться этой силой", то "мудрецы", по их признанию, "благодаря ей... собрали в свои руки золото, не взирая на то, что нам его приходилось брать из потоков крови и слез..." ("Протокол 2-й"; с. 65).

Эта скрытая аллюзия на образ в монологе Барона из пушкинского "Скупого рыцаря" возникает на первой же странице "Черной Книги" — в диатрибе, адресованной (собственно, здесь пере-адресованной!) "народу", который "задохнется в слезах и крови невинных". ("Черная Книга", с. 3).

Наряду с указанной аллюзией этот пассаж в его "германофобии" совершенно восходит к "юдофобии", столь неожиданно завершающей брошюру Головинского "Опыт критики буржуазной морали", вообще-то совершенно не касающейся "еврейского вопроса", "юдофобии", странно сочетающейся там с ... апологией Иуды. Последний, по совершенно парадоксальному мнению Головинского, предал Иисуса, "чтобы поднять негодующий народ на защиту символа своей национальности, на защиту своего идеала" — "для того, чтобы восстановить коллективную личность (национальность) великого Израильского народа" ("Опыт критики буржуазной морали", с. 37) Но — "Великий народ...

К несчастью для Иуды и его сторонников, этот народ перестал быть великим” (там же).

В том же духе — и в тех же выражениях — во вступлении к “Черной Книге” говорится о немецком народе: “Тяжелая прусская каска оказалась гасильником немецкого духа... У такого народа нет алтаря, дух его покинул...” (“Черная Книга”, с. 3).

Вообще-то в том вступлении переадресовка “еврейского” “немецкому” мимоходом отдает комизмом — в связи с немецкой “травестией” традиционно-расхожего еврейского “образа”: “Немецкий духоносец постепенно превратился в юркого и хвастливого, бессердечного коми-вояжера” (“Черная Книга”, с.3).

Автор “Черной Книги” в своем монтаже “германофобских” “фактов” как бы непроизвольно, в русле некоей жанровой инерции, останавливается на том, что уже отмечалось в “Протоколах”. Таков возникающий там мотив “дальневосточной” интервенции в европейские дела.

“Сионские мудрецы” в их “системе обуздания гоевских правительств в Европе” грозятся:

“... всем, если допустить их восстание против нас мы ответим Американскими или Китайскими, или Японскими пушками.” (“Протокол № 7-й”; с. 80).

“Черная Книга” же грозится немецкому народу: “...никакие пушки не могут защитить его от распадения”, при этом, как бы в продолжение “Протоколов”, цитирует “свидетеля” — русского подданного, брутально депортируемого из Германии: “На одной из станций я прочитал немецкую газету, в которой сообщалось, что Япония объявила войну России и что полмиллиона японцев находятся на нашей земле. Это известие и всевозможные толки породили среди русских путешественников немалое смущение.” (“Черная Книга”, с. 3, с. 18).

Указанное общеантропологическое “наблюдение” “Протоколов” — “Что сдерживало хищных животных, которых зовут людьми?” — в “Черной Книге”, в своем переходе от “евреев” к “германцам” и даже “японцам”, с той же пропагандистской легкостью соотносится — с союзными главному врагу

“австрийцами”. В одном из “интервью” говорится об “австрийских пьяных резервистах”:

“Для меня было ясно, что эти звери, потерявшие всякий человеческий образ, способны нас растерзать” (“Черная Книга”, с. 28).

В “Протоколах сионских мудрецов” крайне пессимистический образ человека расслаивается на расчетливо-безжалостных интеллектуалов-”мудрецов” и захваченных своими низменными инстинктами “скотов-гоев”, т.е. европейских масс.

В “Черной Книге” оба варианта исконной человеческой агрессивности уже нераздельно перемешаны — в действиях германского правительства и тамошней “толпы”. “Немцы доказали, что обучение маршировке и совершенствование в машинном производстве, индустриализация жизни и развитие промышленности могут быть совершенно чужды культуре духа.” (“Черная Книга”, с. 3).

Вообще “Черная Книга” некоторые постулаты “Протоколов” смещает, в соответствии с новыми историческими условиями, в сторону известной “модернизации” этих постулатов:

“Наше государство, шествуя путем мирного завоевания, имеет право заменить ужасы войны менее заметными и более целесообразными казнями, которыми надобно поддерживать террор, располагающий к слепому послушанию.” (“Протокол № 1-й”; с. 62).

“Черная Книга”, понятно, отказывается в военных условиях от специфического “пацифизма” “мудрецов”, в условиях “действительности”, которая “неожиданнее всякой фантазии и ужаснее всякого кошмара” (поразительная строчка, открывающая “Черную Книгу” и как бы инстинктивно-мнемонически тут же “закрывающая” фантазию” “Протоколов” с их ирреальным “кошмаром”, жанрово исчерпывающая те условные “протоколы” в пользу якобы “безусловных”).

Характерно, что “Черная Книга” состоит из “фактов”, заимствованных преимущественно из респектабельных либеральных газет (“Биржевые ведомости”, “Речь”, “Русское слово” и т.п.), что необходимо должно было усилить степень информационной достоверности тех “фактов”.

Столь же характерно, что брошюра Головинского во втором ее разделе — "Черные дни Калиша, Ченстохова, Андреева и Вержболова" — выступает с самой "горячей" защитой еврейского и польского населения пограничья империи, первым павшего жертвой германской агрессии и германской же разнузданности ("Черная Книга", с. 46–54). То есть этносы, положенные в становой хребет обличительного "протокольного" мифа (еврейский — откровенно, польский — прикровенно), здесь становятся предметом публицистической защиты столь же пропагандистско-прагматической, как и обвинения, в этой брошюре содержащиеся.

Итак, "Черная Книга" выделяется из всего необъятного пропагандистского космоса-1914 единственно своими авторскими резонаторами, обращенными в сторону "Протоколов", как бы продолжая последние — в условиях уже нового социально-исторического заказа.

Вместе с тем "Черная Книга германских зверств" содержит несколько неожиданный, если можно так выразиться, экзистенциально-прогностический аспект: бесконечно преувеличенные, едва ли не фантомные "германские зверства", здесь описанные, по своей страшной бестиальной структуре вполне предвосхищают немецкую и другую историческую реальность Второй мировой войны, переходя из статуса пропагандистской гиперболы в "действительность", которая, по слову автора "Черной Книги" подчас "неожиданнее всякой фантазии и ужаснее всякого кошмара". Всё то, о чем так вдохновенно лгала брошюра М.В.Головинского в 1914-ом году, вполне произошло в 1939–1945-м годах, да еще в режиме куда более сокрушительных "фактов" и чисел.

Дело, разумеется, не в провидческих свойствах автора массового ("9-я тысяча") издания "ценой в 60 копеек", а именно в жанровой и другой связи этого издания с тоталитарными "фантазиями" и соответственно сконструированными "кошмарами" "Протоколов сионских мудрецов". Эти "фантазии" и "кошмары" — "все эти картины" — сюжетно вращаются вокруг кризиса либеральной демократии, ее возможной стремительной инволюции в сторону некоей гипотетической

диктатуры. Сюжет "Протоколов сионских мудрецов" вращается именно вокруг этого угрожающе универсального сюжета Нового, а особенно Новейшего времени, вокруг его опасной "переменной".

Некогда советский критик В.В.Ермилов, известный своей агрессивностью, смешанной с самой крайней сервильностью, заметил о Достоевском, что тот в своих обличениях современного ему кризиса, "путал социальные адреса". "Протоколы", как уже говорилось, возникшие среди прочего, на самой отдаленной периферии романного мира Достоевского, скажем так, "путали национальные адреса" мирового кризиса, констатируя его и одновременно мистифицируя.

"Черная Книга германских зверств", по-своему продолжая "фантазии" и "кошмары" "Протоколов", вполне угадала те зверства, но уж очень "перепутав" предшествующие "национальные" "адреса" предполагаемого автора... Тайные субъекты европейского кризиса, вопреки прогностике "Протоколов" в конечном историческом счете оказались его неоспоримой явной жертвой, — не в последнюю казуально-историческую очередь, благодаря "Протоколам"...

Пропагандистскую сумму той эпохи — еще в разгаре Первой мировой войны — начала обобщать так наз. "сигнифика", возникшая тогда наука о знаках, среди прочего, о наиболее элементарных лозунгах и паролях военного времени.[1]

Брошюру Головинского завершают, среди прочего, слова о том, что она — "лишь безыскуственный рассказ о первомучениках нашего крестового похода за освобождение народов от германского ига". ("Черная Книга", с. 56).

"Германское иго" здесь — "национальная" "метатеза" "еврейского ига".[2]

V. ГОЛОВИНСКИЙ

Ein Mann wohnt im Haus der
spielt mit den Schlangen
der schreibt der schreibt wenn
es dunkelt nach Deutschland
Paul Celan. Todesfuge

В начале 1902 г. в «Новом времени», буквально за два с лишним месяца до появления там «первоапрельской» статьи М.О.Меньшикова «Заговоры против человечества», впервые в истории предавшей гласности и само существование, и «семантику» «Протоколов сионских мудрецов», появилось сообщение о пребывании в Петербурге корреспондента «Фигаро» Ш.Жоли: «Парижский журналист Шарль Жоли, побывавший нынешней зимой в Петербурге и бежавший от нестерпимости петербургских развлечений, заявил в «Фигаро», что в нашей скучной столице веселятся гораздо более, чем в Париже.»[1]

Что делал в Санкт-Петербурге накануне появления там в печати и сообщения о «Протоколах», и затем самих «Протоколов» — «парижский журналист», коллега Головинского по редакции газеты «Фигаро», по-видимому сын парижского журналиста же Мориса Жоли, чья книга «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье, или Макиавеллистская политика в XIX в.» (1864) стала базовой основой для «Протоколов»? Связано ли «рождественское» пребывание Жоли-младшего в российской столице с упомянутым «первоапрельским» сюрпризом XX веку? В какой степени Шарль Жоли был связан со своим редакционным коллегой? И не было ли присутствие

в редакции сына автора названной книги еще одним из поводов обращения к ней Головинского?

По выражению Пушкина, «выписываем для любопытных изыскателей» — как свидетельство необходимого сближения гипотетического автора «Протоколов» с автором, у которого он так щедро одалживался...

Итак, Матвей Головинский, крошечный литературный «атом», затерявшийся в громадной газетно-журнальной вселенной конца прошлого-начала нынешнего века, — среди „нордических нагромождений публицистики" того времени, если вспомнить презрительно-патетический образ Шпенглера, — казалось, не имеет серьезного, если не архивного, то уж во всяком случае библиографического шанса к его „припоминанию", к самой возможности некоторой реконструкции его литературной и внелитературной судьбы, самого его облика.

Оказывается, однако, что на этот облик ныне совершенно забытого русско-парижского журналиста очень любопытно резонирует проза тогда еще молодого Алексея Николаевича Толстого, по обстоятельствам и своего творчества, и самого своего характера (скажем так, гедонистически ориентированного) превосходного наблюдателя, знатока и ценителя русско-парижской субкультуры 1900–1910-х гг. И не столько ее блестящего фасада в виде так называемых „русских сезонов", сколько самого существования многочисленной русской колонии, ее основной полубогемной и просто богемной массы.

Итак, в рассказе А.Н.Толстого „Лихорадка" (1910) появляется некий русский „эмигрант-одиночка", — „Иван Иванович Горшков", которого за участие в радикальной газете „выгнали из России" — в парижскую безбытицу. Далее следует совершенно поразительное совпадение занятий героя с „фамилией неказистой и мещанской" — с литературными усилиями Головинского того же года, когда был написан рассказ (кстати, обратим внимание на очевидную как бы антропонимическую фоническую анафору — „Горшков" — „Головинский"): герой в Париже, по его словам, „по утрам, отворив окно на улицу, с которой долетал шум экипажей и толпы, ... второй год работал

над обширным трудом „Пути к счастью“, — грядущее откровение для всех“.[2]

Брошюра Головинского в предельно облегченной, преимущественно, в фельетонистическо-публицистической форме завершает старинный, едва ли не со времен знаменитых пушкинских стихов длившийся в русском сознании спор о возможности-невозможности счастья: решенный на верхних этажах русской культуры не в пользу последнего, этот спор, соскальзывая на низовые, массово-популярные и просто китчевые её уровни, подчас решается там в направлении самого безудержного эвдемонизма.

В год написания указанной брошюры — то есть в год своей смерти — Лев Толстой получает от Н.Н.Гусева выписку из чеховского рассказа „Крыжовник“: „Счастья нет и не должно быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом“, на что Толстой немедленно отвечает: „Как хороша Ваша выписка из Чехова! Она просится в „Круг чтения“ (письмо Н.Н.Гусеву от 25 февраля 1910).[3] Но именно в ту пору творчество молодого дебютанта Алексея Толстого окончательно сосредотачивается вокруг некоего столь же радикального, сколь и элементарного эвдемонизма, вокруг которого и вращается вся последующая и проза и биография этого писателя.

Литература советского периода перерешает тот давний спор, в пору еще относительной свободы своих решений, в амплитуде от беспредельно оптимистических „Алых парусов“ Александра Грина с их безудержной апологией счастья до скрытого, но самого глубокого неверия в него в „Дороге никуда“ того же писателя (1929). Официальная же литература пребывает при официальном же оптимизме эмблематического для той эпохи романа „Счастье“ Петра Павленко (1947).

Рассказ Алексея Толстого появился в журнале „Новая жизнь“, в декабре 1910-го года — микротрактат Матвея Головинского, начертавший именно те же „пути“, появился в том же году, по одному косвенному указанию в самом его тексте, где-то сразу после речи Теодора Рузвельта в Сорбонне 24

апреля 1910 г. („ОКБМ“, с. 13). Труды сходны даже по своей методологии, обобщающей, скажем так, без излишнего академического балласта:

„С некоторым сожалением мы чувствуем себя вынужденными отступить перед сложностью выполнения лишь своими силами столь громадной набросанной в предыдущих строках программы. Но, однако, также, как любой из наших современников — по меньшей мере, как весьма многие из них, — мы горестно чувствуем недостаточность наших средств...“ (Головинский, с. 6).

„Материалов у меня не было никаких, да и я не хотел набивать все это чужим умом, я писал новое, правда сбивчиво, но смело.“ (А.Н.Толстой, „Лихорадка“).

Разительное сходство авторских устремлений вполне реального персонажа „русского Парижа“ и персонажа литературного едва ли случайно. Алексей Толстой — писатель, в высшей степени склонный к воссозданию (или, скорее, пересозданию) самых реальных лиц и коллизий — в направлении несколько памфлетном и просто шаржированном. Творчество его представляет собой множество сюжетных и других „шифров“ совершенно реальных людей и положений. Наиболее известный случай — образ поэта Алексея Алексеевича Бессонова в „Сестрах“, в котором чрезвычайно последовательно „перекодировано“ явление Александра Блока и именно в полупамфлетную сторону. Роман „Сестры“ и ранее написанный-неоконченный „Егор Абозов“ вообще представляют собой сумму самых гротескных „шифров“ агонизирующего „серебряного века“ в главных, второстепенных и даже третьестепенных его лицах. Детская же повесть „Золотой ключик, или Приключения Буратино“ совершенно неожиданно и для жанра и для читателя продолжают ту же тенденцию, превратив на этот раз Александра Блока в кукольного „Пьеро“, а Всеволода Мейерхольда, воплощавшего в глазах Алексея Толстого столь ненавистный для него „авангард“, в „доктора кукольных наук“ „Карабаса-Барабаса“. [4]

Можно даже говорить о том, что и „конспиративное“, „незаметное“ а подчас явное указанное „перевоссоздание“

реальных лиц — едва ли не самая заметная черта литературной техники Алексея Толстого. „Горшков" — Головинский в „Лихорадке" — лишь один из бесчисленных тому случаев, ставших правилом писателя.

Тем интереснее сюжет „Лихорадки", герой которой отрывается от своего трактата о „пути к счастью" — на пути к моральной катастрофе, увлеченный некоей дамой-авантюристкой, Марией Степановной (в другом месте характерно — Семеновной) Гунтер (столь же характерно „охотничье" звучание ее фамилии), у которой сомнительная репутация в „русской колонии". Авантюристка Степановна-Семеновна, в свою сюжетную очередь, вовлекает героя в преступные планы своего любовника, французского циркового борца-гангстера, и Горшков, „русский плачевный интеллигент", уступает интриганке, становясь личным секретарем русского князя Алехина, подсовывая тому в сейф „фальшивые ассигнации", взамен похищая оттуда „пятнадцать тысяч" „из лионского банка". На пути в Берлин (обстоятельство, возможно, указующее на момент шпионажа в интриге) героя, уже пребывающего по ту сторону добра и зла, арестовали: „В тюрьме я написал эти записки, никого не жалея, ни о ком не мучаясь, один во всем виноватый, и в душе моей был мир."

Эта несколько бульварная смесь из психологического „подполья", самой пряной эротики, „охотничьих" интриг вокруг „русской колонии" в Париже, дальнейшего преступления и наказания странно корреспондирует с фигурой Головинского не только в связи с его „трактатом", но во всяком случае, голоса последнего в рассказе Алексея Толстого слышны весьма отчетливо.

Как говорилось выше, герой „Лихорадки", сочиняя свой трактат, беспечно обходится своими интеллектуальными силами: *„**материалов у меня не было никаких***, да я и не хотел набивать все это чужим умом" и т.д.

Напомним также, что и Головинский, в виду „сложности", „набросанной" им в „предыдущих строках программы", вроде бы и отказывается от ее „выполнения ***материала*** лишь своими силами", благо в истории соответствующего „более, чем доста-

точно“, но сам-то он, не без горечи, в связи „с недостаточностью наших средств“, дает, по его определению, „слишком узкую формулу проблемы“, без академического ее обоснования. (Головинский, ОКБМ, с. 5–6).

Вслед за тем Головинский „в ***грядущие века***“ помещает „безвластие“, в котором „человек найдет собственное достоинство и ***счастье не быть одиноким***“ (с. 23).

Герой „Лихорадки“ Горшков сочиняет „***грядущее откровение для всех***“ — соответственно о „***пути к счастью***“ для всех, слагая между тем после встречи с Марией Степановной-Семеновной, такие „лебядкинские“ вирши: „***Я одинокий был*** и рвал себе власа“.

Именно „счастье не быть одиноким“ составляет главную цель героя, более всего боящегося именно одиночества: „***Одинокие люди*** всегда так: приласкают их мимоходом, и они, не знай как, дорожат этим, словно в нем весь свет их и жизнь... И нет страшнее снова, оставшись ***одному***, войти в свою комнату, где повсюду следы прошлого одиночества.“

Рассказ „Лихорадка“ явственно реферирует указанные тезисы парижского „трактата“-1910 — о „счастье не быть одиноким“ — и одновременно столь же явственно резонирует некоторыми обстоятельствами биографии его автора, сохранившимися, при всей скудости сведений о ней, в памяти современников: сомнительная эмиграция, литературная деятельность, сомнительные же связи с „таинственными“ женщинами из „очень подозрительной компании“.

Прямых свидетельств о знакомстве Алексея Толстого с Головинским, похоже, нет, но весьма основательное знакомство писателя с тогдашней русско-парижской „субкультурой“, с ее весьма специфической средой не подлежит сомнению.

Среди прочего, герой Алексея Толстого замахнулся палкой на эмигранта соотечественника, тщетно „советовавшего“ тому „остерегаться этой женщины“. Слабость писателя к подобным сценам в жизни и в литературе достаточно известна. В „Театральном романе“ Булгакова возникает, как бы в отместку Алексею Толстому-“шифровальщику“, совершенно памфлетный образ известного литератора, возвратившегося из Парижа

с целым ворохом соответствующих „сюжетов" (эпизод с Измаилом Бондаревским). При всей своей шаржированности эпизод этот удивительно соответствует иронической заметке в „Записных книжках" Александра Блока.[5]

Интересней всего, что мотив неприкаянного русского интеллигента-эмигранта в Париже уже не оставляет дальнейшую прозу Алексея Толстого — и нередко в направлении указанных строк биографии Головинского, даже в виде отдаленного антропонимического эха его фамилии (художник ***Козельский*** из рассказа „Синее покрывало", написанного сразу вскоре после „Лихорадки", также страдающий оттого, что „нельзя так одному жить", умирающий „с голоду и одиночества" — и просто от „одиночества").

Любопытно, что затем в рассказе „Прекрасная дама" (1916) как бы в продолжение образа „Марии ***Степановны*** Гунтер" снова возникает „охотница" — и вовсе „продажная", „воровка" и „шпионка" „Людмила ***Степановна***", посягающая на секретный пакет и саму честь доблестного русского офицера-курьера.

И наконец, уже после самой радикальной переориентации автора, белого эмигранта, в сторону национал-большевизма, появляется его вконец памфлетный роман „Эмигранты" (1931), в котором рядом с известнейшим разоблачителем провокаторов Василием Львовичем Бурцевым, представленным здесь уже совсем карикатурно, постоянно возникает как бы совсем поздний дериват „Горшкова"-"Головинского" — эмигрант же, „довольно известный на Юге России журналист Володя Лисовский", в Париже „в пять минут" убедивший Милюкова „взять его личным секретарем" (напомним, что Горшков в „Лихорадке" с весьма сомнительной целью становится в Париже „литературным секретарем" князя Алехина).

„***Лисовский***" фонетически уже совсем симметричен „***Головинскому***" хотя и „перешифрован" в иной возраст: „молодой, бледный, медлительный человек", в чьих „синих глазах дремала ледяная тоска", и образ этот, в продолжение той же симметрии, снова отбрасывает как бы литературную тень публициста Головинского: если в „Лихорадке" едва ли не

цитируется французский „трактат“ последнего, то в „Эмигрантах“ возникает очевидный рефлекс на пробольшевистскую ориентацию автора этого „трактата“, переиздавшего его в русском переводе в Москве–1919, с самыми конъюнктурными реверансами в сторону большевистской революции в предисловии.

Дело в том, что Лисовский „Эмигрантов“, выполняя редакционное задание Василия Львовича Бурцева, которому он характерно советует „повернуть руль „Общего дела“ от парламентаризма покруче вправо, — созвучно с эпохой“, после посещения пробольшевистски настроенных рабочих кварталов, в соответствии с возможной читательской конъюнктурой, сам забирает „влево“: „И тут же мелькнуло: „Написать книгу с большевистским душком — скандал и успех... В конце концов ему было наплевать на белых и на красных, на политику, на журналистику, на Россию и на всю Европу. Все это он равнодушно презирал, как обнищавшие задворки единственного хозяина мира — Америки, куда ушло всё золото, ***всё счастье***... Ему ничего не стоило сейчас прикидываться большевиком, — пожалуйста!“

Брошюра Головинского с ее определенно „большевистским душком“ — как бы этюд к книге, которую предполагает написать Лисовский. Напомним об отчетливо анархической направленности той брошюры — и сопоставим с провокаторской автохарактеристикой Лисовского, с которой он обращается к одному из рабочих: „Не хочу вас обманывать, я по убеждениям — анархист... В Париже мои задания скорее литературные, чем партийные... Здесь приходится выдавать себя за белогвардейца и работать в „Общем деле“...

Лисовский, — „тень человека“, по собственному определению, — это и „тень“ Головинского, его психологический отзвук, позволяющий хотя бы контурно воспроизвести нигилистический облик реального русско-парижского журналиста, смещающийся в соответствии с обстоятельствами, то „влево“, то „вправо“. Литературная продукция „героя“, весьма возможно, указует на душевный состав прототипа: „А вот книгу я напишу, что верно, то верно... циничную, гнусную,

невообразимую. Чтоб каждая строчка налилась мозговым сифилисом. Это будет успех!.. Исповедь современного человека, дневник растленной души, настольная книга для вас, мосье, дам..."

Поразительно, что затем автор-циник резюмирует свою будущую книгу так, что она как бы „реверберирует" общей направленностью и самой морфологией „Протоколов сионских мудрецов", предстанет как некий леворадикальный их „реверс": „книгу назвать: ***„Заговор трех четвертей***". Циничная, наглая, как будто автору известно в тысячу раз больше, чем сказано... С каждой страницы двигаются на читателя миллионы устрашающих теней... Или название: „Я даю цивилизации год жизни..."

Сходство Лисовского с Головинским несколько усиливается в романе тем, что герой появляется в нем в кабинете финансового туза-эмигранта Семена Семеновича Уманского, элегантно помогая ему разориться — в интересах „этнически" чистого российского промышленника Николая Христофоровича Денисова (реальная фигура в истории рушащегося русского капитализма). Неприязнь или, во всяком случае, самое ироническое отношение к неудачливому спекулянту-еврею Алексей Толстой вполне разделяет со своими героями-хищниками. То, что прототип одного из них Головинский, возможно, в соответствии с бриколажем тех или иных „шифров" в романе, и вызвало появление в нем главы-экскурса в историю становления дома Ротшильдов. Национал-большевистская ориентация автора своеобразно, но совершенно свободно сопрягает, в общем, достаточно казенный пафос большевистской революции и неприязнь к „еврейскому капиталу" (несколько более здесь сложен образ финансиста Леви-Левицкого, зверски замученного белоэмигрантским „подпольем").

Наконец, есть еще одно возможное свидетельство о позднем Головинском, — впрочем, именно „возможное".

Некогда весьма известный французский писатель Пьер Мак-Орлан (Пьер Дюмарше), (1882–1970), художник совершенно „рембовидной" биографии, достойнейший пред-

ставитель героической эпохи монмартрской богемы, представитель исчезнувшего после первой мировой войны поколения люмпен-интеллигенции, поэтов и анархистов, весьма интересовался, в духе времени, „загадкой России“, аллюзии вокруг которой проходят через все его творчество (включая знаменитый роман „Набережная туманов“, ставший основой знаменитого фильма). Пьер Мак-Орлан, как свидетельствует его парижский друг Илья Эренбург, пребывал при близких знакомствах с русской колонией — и довоенной, и послевоенной.

И вот в его романе „Ночная Маргарита“ (1925) возникает образ старика-“профессора филологии“ „Жоржа Фауста“, „потомка того, кто соблазнил Маргариту“, чахлого книжника, доживающего свою бесцветную жизнь в послевоенном Париже. Герой, впрочем, помнит об особой судьбе своего клана и пытается ее повторить, что необходимо приводит его к встрече с неким молодым человеком по имени „Леон“, который, разумеется, „слегка прихрамывал“. Старик-филолог на неких своеобразных условиях продает свою душу „Леону“.[6]

Дальнейшее — молчание.

VI. ПСМ — ГОЛОСА ИЗ ДОСТОЕВСКОГО
(„Бесы“ и „Братья Карамазовы“)

— Литературное воровство! — вскричал Иван, переходя вдруг в какой-то восторг, — это ты украл у моей поэмы! Спасибо, однако.“

„Братья Карамазовы“

Матвей Головинский — сын петрашевца Василия Головинского (1829–1870), вместе с Достоевским и другими двадцатью „заговорщиками“ приговорённого к расстрелу и стоявшего 22 декабря 1849 года на эшафоте на Семёновском плацу — в третьем от писателя ряду.

Василий Андреевич Головинский, тогда двадцатилетний титулярный советник-“правовед“, оставленный после окончания известного в ту пору Училища правоведения для подготовки там к профессорскому званию, образованнейший радикал-фурьерист, среди петрашевцев выделяется своей последовательностью в крестьянском вопросе (по его утверждению, „освобождение крестьян есть важнейший вопрос в России“, а для этой цели „все меры хороши“). Отбыв солдатчину, которой ему заменили смертную казнь, Головинский-старший занимался адвокатурой, навсегда сохранив свой фурьеристский энтузиазм и присовокупив к нему столько же последовательную защиту крестьянских интересов в эпоху реформ (за это симбирское дворянство называло его „висельником“). В ту пору В.А.Головинский встречался с Достоевским, несомненно отметившим ту фурьеристскую несгибаемость товарища по „заговору“, и его неостывший радикализм в

крестьянском вопросе, предполагавший, что „все меры хороши". И, разумеется, „симбирское" одиночество тамошнего пламенного фурьериста.

„Бесы" были закончены в год смерти В.А.Головинского и очевидным образом сохранили некоторые его портретные, биографические и мировоззренческие черты — в образе Виргинского (обратим внимание на несколько ироническое сходство фамилий). „Сам Виргинский", „жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем лет уже тридцати, с значительным образованием", „был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь". „Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд", — говаривал он мне с сияющими глазами". [1]

Совершенно очевидно, что „кружок наш" в „Бесах" представляет собой жестокий гротеск кружка Петрашевского, но уже перенесенного в другую, гораздо более кризисную историческую эпоху. И Виргинский, фанатично преданный „общему делу", собирающий „наших" в своём доме „в Муравьиной улице", предстаёт как столь гротескное превращение упомянутых, вполне реальных черт — петрашевца Головинского. Весьма характерно, что после крушения „кружка" Виргинский „даёт теперь показания откровенно, но с некоторым даже достоинством и не отступает ни от одной из „светлых надежд" своих..." (т. 10, с. 511), что в точности соответствует поведению Василия Головинского во время следствия (обнаружил, по выражению последнего, „явное упорство и изворотливость в написании ответов") и далее.

Словом, Достоевский „Бесов" предстаёт, среди прочего, в качестве как бы биографа Головинского-старшего, создаёт в своём романе превращённую семейную хронику Головинских. Впрочем, специально фурьеристский энтузиазм здесь сжигает прежде всего Липутина, другого „яростного сектатора бог знает какой будущей „социальной гармонии", упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование". (т. 10, с. 45).

Таким образом, у Головинского-сына были самые очевидные биографические причины — внимательнейше вглядываться в романистику Достоевского, содержащую как необходимую полемику с „яростными сектаторами", так и биографический же материал их прототипов.

Отсюда множество реминисценций в ПСМ из романистики Достоевского, доходящих, как-то обыкновенно бывает у их автора, до прямого плагиата.

При этом заметим, что в пору создания ПСМ европейская слава Достоевского, в сущности, только начиналась и тамошний читатель, в частности французский, знал Достоевского в весьма несовершенных, а то и в неполных переводах, что обеспечивало тому плагиату известную безопасность в отношении его возможного разоблачения.

Так „Братья Карамазовы", переведенные — весьма небрежно — на французский язык в 1888 г., не стали в ту пору предметом особого интереса со стороны французского читателя — за характерным „лево"- и „праворадикальным" исключением „парнасца" Леконта де Лиля и стилизующего себя под католического реакционера Вилье де Лиль Адана, создавших в 1890-х соответствующие — интереснейшие — „парафразы" „Легенды о Великом Инквизиторе", оставшиеся, по условиям времени, впрочем, на обочине тамошнего литературного процесса.

Даже обычно проницательный Эжен Мельхиор де Вогюэ, предсказавший незадолго до того возможную эволюцию Толстого в сторону самого безудержного морализма, в своем известном „Русском романе" (1886) отозвался о „Братьях Карамазовых" весьма скептически — как о „нескончаемой истории", едва ли не графоманской.

Словом, их последующая неслыханная французская слава, заставившая молодого Андре Мальро, по воспоминаниям С.М.Эйзенштейна, выучить роман Достоевского целиком наизусть, была делом достаточно отдаленного будущего.

Таким образом, „литературное воровство" автора „Протоколов", весьма одолжавшегося у автора „Братьев Карамазовых", необходимо оказалось бы французской публикой 1890-х, как и

сам роман Достоевского, — незамеченным. Риск плагиата из книги, совершенно ускользнувшей из тамошнего интеллектуального обихода „конца века“, был невелик...

Особенно интенсивно и по-своему последовательно ПСМ воспроизводят именно самые фундаментальные положения „Легенды о Великом Инквизиторе“, „поэмки“ Ивана Карамазова в „Братьях Карамазовых“, положения, углубившие главные пароли „кружка“ из „Бесов“.

Итак, сравним.

Великий Инквизитор обращается в „Легенде“ к безмолвствующему Христу со следующей своей мировоззренческой стратегией:

„Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, — продолжает старик, — великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам предано в книгах, что он будто бы „искушал“ тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо „искушениями“? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить лишь для пробы и для примера, что эти три вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтобы внести опять в книги, и для этого собрать всех ***мудрецов земных*** — правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов — и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, — то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим умом, а с вековечным и абсолютным.“ (т.14, с. 229-230).

Далее следует углублённая характеристика и изложение этих „вопросов" поразительно предваряющая то, что вслед за тем станет мировоззренческим инвариантом ПСМ, главным паролем тамошних „всех мудрецов земных..."

Итак, „... в этих ***трех вопросах*** как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены ***три образа***, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле." (т. 14. с. 230).

Соответственно, по разумению Великого Инквизитора — „Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия, — эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье и сам подал пример тому... Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете" (разрядка, скажем так, Великого Инквизитора — *В.С.*) (т. 14, с. 232, 234).

„Чудо", „тайна" и „авторитет" — сквозные мотивы ПСМ. Мотивы, уточняющие-вульгаризующие угрюмую риторику Великого Инквизитора.

„Наше правление, в котором царь будет иметь легальную фикцию принадлежности ему всего, что находится в его государстве (что легко перевести на дело)..." („Протокол № 20-й"; с. 120).

„ореол непогрешимости новой власти"(„Протокол № 11-й";с. 92).

„ореол нашей правительственной непогрешимости". („Протокол № 12-й"; с. 94).

„Главное дело для незыблемости правления — укрепление ореола могущества, а ореол этот достигается только величественной непоколебимостью власти, которая носила бы на себе признаки неприкосновенности от мистических причин..." („Протокол № 15-й"; с. 104).

„Народ наш и подданные" — „они признают самодержавие нашего правителя с благоговением, близким к обоготворению".(„Протокол№ 15-й"; с. 110).

„С учреждением официальной охраны исчезает мистический престиж власти: при наличности известной смелости

каждый считает себя хозяином над ней...“ („Протокол № 18-й“; с. 117-118).

„Наша власть будет вершителем порядка, в котором и заключается все счастье людей. Ореол этой власти внушит мистическое поклонение и благоговение перед ней народов.“(„Протокол№ 22-й“; с. 130).

Великий Инквизитор прогнозирует весь мировоззренческий состав секулярной цивилизации: „Свобода, свободный ум и наука ***заведут их в такие дебри*** и поставят перед такими чудами и неразрешимыми тайнами, что... слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: „Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих.“ (т. 14, с. 235).

ПСМ упрощенно, но несомненно повторяет пафос „тайны“ Великого Инквизитора:

„Всякое решение толпы зависит от случайного или подстроенного большинства, которое, ***по неведению политических тайн***, произносит абсурдное решение, кладущее зародыш анархии в управлении“.(„Протокол № 1-й“; с. 59).

„Вспомним французскую революцию, которой мы дали имя „великой“: тайны её подготовления нам хорошо известны, ибо она вся — дело рук наших.“(„Протокол № 3-й“; с. 69).

„Всякая республика проходит несколько стадий. Первая из них заключена в первых днях безумствования слепца, мятущегося направо и налево, вторая — в демагогии, от которой родится анархия, приводящая неизбежно к деспотизму, но уже не законному открытому, а потому ответственному, а к невидимому и неведомому и тем не менее чувствительному деспотизму какой бы то ни было тайной организации, тем бесцеремоннее действующей, что она действует прикрыто, за спиной разных агентов, смена которых не только не вредит, но воспособляет тайной силе, избавляющейся, благодаря этой смене, от необходимости тратить свои средства на вознаграждения долгосрочно прослуживших.

Кто и что может свергнуть незримую силу?! А сила наша такова.“ („Протокол № 4-й“; с. 71).

„Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение, высказывая с разных сторон столько противоречивых мнений и до тех пор, пока гои ***не затеряются в лабиринте их*** и не поймут, что лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах политики, которых обществу не дано ведать, потому что ведает их лишь тот, кто руководит обществом. — ***Это первая тайна***.

Вторая тайна, потребная для успеха управления, заключается в том, чтобы настолько размножить народные недостатки — привычки, страсти, правила общежития, чтобы никто в этом хаосе не мог разобраться, и люди вследствие этого перестали бы понимать друг друга." („Протокол № 5-й"; с. 75).

„...обсуждение ... власти, свободы слова, прессы, религии (веры), права ассоциации, равенства перед законом" — „Все эти вопросы таковы, что их прямо и открыто для народа не следует никогда касаться. Во всех тех случаях, когда необходимо их коснуться, надо не перечислять их, а заявлять без подробного изложения, что принципы современного права признаются нами. Значение этого умолчания заключается в том, что неназванный принцип оставляет нам свободу действий исключать то или другое из него незаметно..." („Протокол № 10-й"; с. 85–86).

„План управления должен выйти готовым из одной головы, потому что его не скрепишь, если допустить его раздробление на клочки в многочисленных умах. Поэтому нам можно ведать план действий, но не обсуждать его, чтобы не нарушать его гениальности, связи его составных частей, практической силы ***тайного значения каждого его пункта.***"(„Протокол № 10-й"; с. 87).

„...мы отнимем у Палаты со введением новой республиканской конституции право запроса о правительственных мероприятиях под предлогом сохранения политической тайны..." („Протокол № 10-й"; с. 89).

„...наша организация ***тайного масонства***, которого не знают, и целей, которых даже и не подозревают скоты гои, привлеченные нами в показную армию масонских лож, для отвода глаз их соплеменникам."(„Протокол № 11-й"; с. 93).

„Прогресс, как ложная идея служит к затемнению истины, чтобы никто ее не знал, кроме нас, Божиих избранников, хранителей её.“ („Протокол № 13-й“; с. 100).

„...мы обезвредим первую ступень коллективизма — университеты, перевоспитав их в новом направлении. Их начальство и профессора будут подготовлены для своего дела ***тайными программами действий***, от которых они безнаказанно не отступят ни на йоту.“ („Протокол № 16-й“; с. 111).

„Во всем, что до сих пор мною доложено вам, я старался тщательно обрисовать ***тайну происходящего*** — бывшего и текущего, стремящегося в поток великих грядущих уже в близком будущем событий, ***тайну законов наших отношений*** к гоям и финансовых операций.“ („Протокол № 22-й“; с. 129).

„Несколько членов от семени Давидова будут готовить царей и их наследников, выбирая не по наследственному праву, а по выдающимся способностям, посвящая их в ***сокровенные тайны политики***, в планы управления с тем, ***чтобы никто ведал этих тайн***...

Только царь, да посвятившие его трое будут знать грядущее“. („Протокол № 24-й“; с. 132–133).

Пафос „авторитета“ в „Легенде о Великом Инквизиторе“ примитивизируется-повторяется в ПСМ:

„сверхчеловеческие права“(„Протокол № 17-й“; с. 116).

„Без ***абсолютного деспотизма*** не может существовать цивилизация, проводимая не массами, а руководителем их, кто бы он ни был.“ („Протокол № 1-й“; с. 61).

„Справедливая, но неумолимая строгость есть величайший фактор государственной силы: не только ради выгоды, но и во имя долга, ради победы, нам надо держаться программы насилия и лицемерия. Доктрина расчета настолько же сильна, насколько и средства ею употребляемые. Поэтому не столько самими средствами, сколько доктриной строгости, мы восторжествуем и ***закрепостим все правительства своему сверхправительству***. Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы, чтобы прекратились ослушания.“ („Протокол № 1-й“; с. 62).

„На место современных правителей мы поставим ***страшилище***, которое будет называться ***Сверхправительственной***

Администрацией. Руки его будут протянуты во все стороны, как клещи, при такой колоссальной организации, что она не может не покорить все народы.“ („Протокол № 6-й“; с. 76).

„Наше правление должно окружать себя всеми силами цивилизации... Оно окружит себя публицистами, юристами-практиками, администраторами, дипломатами и, наконец, людьми, подготовленными особым — ***сверхобразовательным*** воспитанием в наших особых школах. Эти люди будут ведать все тайны социального быта, они будут знать все языки, составляемые политическими буквами и словами; они будут ознакомлены со всей подкладочной стороной человеческой натуры, со всеми её чувствительными струнами, на которых им надо будет уметь играть“. („Протокол № 8-й“; с. 81).

“Великий инквизитор”:

„Да, это дело нам дорого стоило, — продолжает он, строго смотря на него, но мы докончили наконец это дело во имя твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено и кончено крепко.“ (т. 14, с. 229).

ПСМ:

„новое фундаментальное здание, которое нами проектировано“ („Протокол № 10-й“; с. 86).

„Перед нами план, в котором стратегически изложена линия, от которой нам отступать нельзя без риска видеть разрушение многовековых работ.“ („Протокол № 1-й“; с. 60).

„многовековой опыт“ („Протокол № 16-й“; с. 113).

„Вопросы политики никому недоступны, кроме руководящих ею уже много веков создателей её“. („Протокол № 13-й“; с. 99).

„Много веков“ ПСМ прямо восходят к соответствующей хронологии „Легенды“: „Мы давно уже не с тобою, а с н и м, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг... Рим и меч кесаря...“ (т.14, с. 234).

Следующие реминисценции из „Братьев Карамазовых“ в ПСМ:

„Некто, Бог знает как вошедший“, так реферирует вторую поэму Ивана Карамазова в главе „Черт. Кошмар Ивана Федоровича“:

„Там новые люди, — решил ты еще прошлою весной, сюда собираясь, — они полагают разрушить всё и начать с антропофагии... По-моему, и разрушать ничего не надо, ***а надо всего только разрушить в человечестве идеи о боге, вот с чего надо приняться за дело!*** С этого, с этого надобно начинать — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период — параллель геологическим периодам — совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни всё, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой...“ (т. 15, с. 83).

Сравни:

„Но и свобода могла бы быть безвредной и просуществовать в государственном обиходе без ущерба для благоденствия народов, если бы она держалась на принципах веры в Бога, на братстве человечества, вне мысли о равенстве, которому противоречат сами законы творения, установившие подвластность. При такой вере народ был бы управляем опекой приходов и шел бы смиренно и кротко под рукой своего духовного пастыря, повинуясь Божьему распределению по земле. ***Вот почему нам необходимо подорвать веру, вырвать из ума гоев самый принцип Божества*** и Духа и заменить всё арифметическими расчетами и материальными потребностями“. („Протокол № 4-й“; с. 71).

„Легенда о Великом Инквизиторе“:

„Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, — ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!“ (т. 14, с.230).

Сравни в ПСМ:

„Слово — „свобода" выставляет людские общества на борьбу против всяких сил, против всякой власти даже Божеской и природной. Вот почему при нашем воцарении мы должны будем это слово исключить из человеческого лексикона, как принцип животной силы, превращающей толпы в кровожадных зверей." („Протокол № 3-й"; с. 70).

„Легенда о Великом Инквизиторе":

„Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал!.. Он ***слаб и подл***." (т. 14, с 233).

„малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики" (т. 14, с. 231).

„Протоколы" буквально начинаются — с той же „антропологии", в системе скрытых, а то и явных цитат из „Легенды":

„Надо заметить, что люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых, поэтому лучшие результаты в управлении ими достигаются насилием и устрашением; а не академическими рассуждениями. Каждый человек стремится ко власти... ...при этом редкий не был бы готов жертвовать благами всех ради достижения благ своих." („Протокол № 1-й"; с. 57).

„Неистощимая ***подлость*** гоевских народов, ***ползающих перед силой, безжалостных к слабости***, беспощадных к проступкам и снисходительных к преступлениям, ***не желающих выносить противоречий свободного строя***, терпеливых до мученичества перед насилием смелого деспотизма." („Протокол № 3-й"; с. 70).

„Этот избранник Божий назначен свыше, чтобы сломить безумные силы, движимые инстинктом, а не разумом, животностью, а не человечностью. Эти силы теперь торжествуют в проявлениях грабительства и всякого насилия под личиною принципов свободы и прав." („Протокол № 23-й"; с. 131).

„Легенда о Великом Инквизиторе":

„...начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на

ней будет написано „Тайна!“ Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастия.“(т.14, с. 235).

Сравни в ПСМ:

„... народ ... сложил свои полномочия у наших ног. Вспомните французскую революцию...

С тех пор мы водим народы от одного разочарования к другому...

Слово — „свобода“ ...принцип животной силы, превращающей толпы в кровожадных зверей.

Правда, звери эти засыпают каждый раз, когда напьются крови, и в это время их легко заковать в цепи. Но если им не дать крови, они не спят и борются.“ („Протокол № 3-й“; с. 69–71).

В „Легенде неустанно предстает-повторяется антитеза-оппозиция „избранные“ — „остальные слабые люди“, снова сопряженная с „тайной“:

„Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять её. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести.“ (т. 14, с. 234).

„И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать из уст моих, слушай же: мы не с тобой, а с ним, вот наша тайна!“ (т. 14, с. 234).

В „Легенде“ все несчастия человека Нового времени — производное от его свободы: „Итак, ***неспокойство, смятение и несчастие*** — вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их!“ (т. 14, с. 234).

Сравни:

„неистощимая подлость гоевских народов... не желающих выносить противоречий свободного строя... народ разрушает всякую устойчивость и создает беспорядки на каждом шагу...

Слово — „свобода“ выставляет людские общества на борьбу против всяких сил, против всякой власти даже Божеской и природной.“ („Протокол № 3-й“; с. 70).

Из идеологического проекта „Великого Инквизитора“:

„докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут ... прижиматься к нам, как птенцы к наседке. ... глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин ... мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями... ...они будут любить нас как дети... ...нас они будут обожать как благодетелей, понесших на себе их грехи перед богом... Будет тысячи миллионов счастливых младенцев..." (т. 14, с. 236).

Сравни ПСМ:

„Наше правление будет иметь вид патриархальной, отеческой опеки со стороны нашего правителя. Народ наш и подданные увидят в его лице отца, заботящегося о каждой нужде... Они будут рады, что мы всё урегулировали в их жизни, как это делают умные родители, которые хотят воспитывать своих детей в чувстве долга и послушания. Ведь народы по отношению к тайнам нашей политики вечно несовершеннолетние дети точно также, как и их правления..." („Протокол № 15-й"; с. 110).

В "Легенде" подчеркнута "великая потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению" и в связи с этим стремлением "все, что ищет человек на земле, то есть: перед кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный и согласный муравейник, ибо ***потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно".*** (т. 14, с. 234-235).

Сравни в ПСМ:

„Гоевские народы" — „От современных премьеров-диктаторов они терпят и выносят такие злоупотребления, за меньшее из которых они обезглавили бы двадцать королей.

Чем же объяснить такое явление, такую непоследовательность народных масс в отношении своем к событиям, казалось бы, одного порядка?

Объясняется это явление тем, что диктаторы эти шепчут народу через своих агентов, что они злоупотреблениями теми наносят ущерб государствам для высшей цели — достижения

блага народов, их международного братства, солидарности и равноправия. Конечно, им не говорят, ***что такое соединение должно совершиться под державой нашей***." („Протокол № 3-й"; с. 70).

„Легенда о Великом Инквизиторе":

„Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками." (т. 14, с. 236).

ПСМ:

„Чтобы они сами до чего-нибудь не додумались, мы их еще отвлекаем увеселениями, играми, страстями, народными домами... Скоро мы станем через прессу предлагать конкурсные состязания в искусстве, спорт всех видов: эти интересы отвлекут окончательно умы от вопросов, на которых нам пришлось бы с ними бороться." („Протокол № 13-й" с. 100).

Социологическая архитектура Нового времени, по Великому Инквизитору:

„На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но всё же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь придут они, ***промучившись*** тысячу лет со своей башней!" (т. 14, с. 230).

Сравни ПСМ:

„подкапывая" „государственные здания" „гоев" — „Мы же особенно будем подчеркивать исторические ошибки гоевских правителей, столько веков ***промучивших*** человечество отсутствием сообразительности во всем, что касается истинного его блага, в погоне за ***фантастическими проектами социальных благ***, не замечая, что эти проекты все более ухудшали, а не улучшали положение всеобщих отношений, на которых основывается человеческая жизнь..." ("Протокол № 14-й"; с. 101-102).

Сравни в „Бесах":

„восторги перед фантастическими картинами будущей фаланстеры" (т. 10, с. 45).

„начиная с „французской революции" — „С тех пор мы водим ***народы от одного разочарования к другому*** для того,

чтобы он и от нас отказался в пользу ... Царя-деспота Сионской крови, которого мы готовим для мира."(„Протокол № 3-й"; с. 69–70).

Теперь снова возвратимся к „Бесам", особенно к мотивам, возникающим в „поле" Виргинского, этого парафраза Головинского-старшего:

Виргинский „был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. Супруга его да и все дамы были самых последних убеждений, но всё это выходило у них несколько грубовато, именно — тут была ***„идея, попавшая на улицу***", как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они всё брали из книжек и, по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, ***готовы были выбросить всё, что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать.***" (т. 10, с 28).

В „Протоколах" — едва ли не в той же лексике! — возникает картина омассовления эгалитарной идеи, также „попавшей"-"выброшенной" „на улицу":

„В те времена, когда народы глядели на царствовавших, как на чистое проявление Божьей Воли, они безропотно покорялись самодержавию Царей, но с того дня, как мы им внушили мысль о собственных правах, они стали считать царствующих лиц простыми смертными. Помазание Божественным избранием ***ниспало*** с главы Царей в глазах народа, а когда мы у него отняли веру в Бога, то мощь власти ***была выброшена на улицу*** в место публичной собственности и захвачена нами." („Протокол № 5-й"; с. 73).

Очевидно также сходство в „католической" стратегии „Бесов" и „Протоколов".

Петр Верховенский в главе „Иван-Царевич" следующим образом представляет свои соответствующие планы:

„ –... Знаете ли, я думал отдать мир папе. Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни: „Вот, дескать, до чего меня довели!" — и все повалят за ним, даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами шигалевщина. ***Надо только, чтобы с папой Internationale согласилась;*** так и будет. А старикашка согласится мигом. Да другого ему и выхода нет, вот помяните мое слово..." (т. 10, с. 323).

“Ватиканская” политика в “Протоколах” развертывается в том же направлении — и примерно в тех же образах:

“Когда придет время окончательно уничтожить папский двор, то палец от незримой руки укажет народам в сторону этого двора. Когда же народы бросятся туда, мы выступим как бы его защитниками, чтобы не допустить до сильных кровопусканий. Этой диверсией мы проберемся в самые его недра и уже не выйдем оттуда, пока не подточим всю силу этого места.

Царь Иудейский будет настоящим папою вселенной, патриархом интернациональной церкви”. (“Протокол № 17-й”; с. 114).

В “Бесах” возникает как бы иерархия будущих деспотизмов — в исступленных речах Верховенского-сына “папа вверху, мы кругом”, но вслед за тем: “– Довольно! Слушайте, я бросил папу! К черту шигалевщину! К черту папу! Нужно злобу дня, а не шигалевщину... Слушайте: ***папа будет на Западе, а у нас, у нас будете вы***!” (т. 10, с. 323).

Грандиозные теократические планы Петра Верховенского очень точно, хотя и многословно отзываются в “Протоколах” — только “Ивана-***царевича***” здесь замещает грядущий “***Царь*** Иудейский”:

“Кроме того искусство управлять массами и лицами посредством ловко подстроенной теории и фразеологии, правилами общежития и всякими другими уловками, в которых гои ничего не смыслят, принадлежит также к специальностям нашего административного ума, воспитанного на анализе, наблюдении, на таких тонкостях соображений, в которых у нас нет соперников, как нет и в составлении планов политического действия и солидарности. Одни иезуиты могли бы в этом с нами сравняться, но мы их сумели дискредитировать в глазах бессмысленной толпы, как организацию явную, сами со своей тайной организацией оставшись в тени. Впрочем, ***не все ли равно для мира, кто будет его владыкой — глава ли католичества, или наш деспот Сионской крови?! Нам-то, избранному народу, это далеко не все равно***.” (“Протокол № 5-й”; с. 73).

В “Протоколах” возникает, как бы в продолжение теократической утопии “Бесов”, разделенной между папством и

"нашими", то же разделение мирового исторического труда — вокруг отмеченной "ореолом могущества" и "величественной непоколебимостью" "власти" со всеми "признаками неприкосновенности от мистических причин".

"Таково было до последнего времени русское Самодержавие — единственный в мире серьезный враг наш, если не считать Папства". ("Протокол № 15-й"; с. 104).

Похоже, что пассаж этот в режиме обратной симметрии, восходит к замечанию одного из "наших", "хромого учителя" ("это была сильная губернская голова") с его весьма осторожным национально-революционным мессианизмом:

"— На Россию-то теперь и надеются, — проговорил офицер.

— Слышали мы и о том, что надеются, — подхватил хромой. — Нам известно, что на наше прекрасное отечество обращен таинственный index как на страну, наиболее способную к исполнению великой задачи." (т. 10, с. 314).

Внешняя эксцентричность политического проекта Петра Верховенского вместе с тем содержит в себе вполне реальный предмет, постоянно вызывавший самое пристальное внимание всех русских участников "борьбы с Западом" — весьма своеобразное, но несомненное генетическое родство европейской революции с католической церковью, собственно, с левым ее флангом, с явлениями, давшими поначалу пламенного Ламенне, а вслед за тем огромный идеологический массив так наз. "христианского социализма", при всех неизбежных своих временных трансформациях и метаморфозах, вполне сохранившийся до наших дней.

Русская консервативная мысль, начиная с Тютчева и вот Достоевского в своем достаточно субъективном видении католицизма, последовательно имплицирует в его состав идею тотального революционно-государственного насилия (весьма возможно, что эта едва ли не назойливая русская идеологическая галлюцинация прошлого века вызвана, прежде всего, самым активным участием католической церкви во всех формах радикального польского патриотизма).

Очень характерно, что в начале века нынешнего русский леворадикальный экстремизм "блоковского", лирическо-анар-

хического типа воспринимает отечественный консервативный миф об историческом родстве католицизма и революции уже с обратным (то есть в этом случае позитивным) знаком. Отсюда своего рода ренессанс идей Ламенне (его "Слова верующего", переведенные и изданные в 1906 г. в Санкт-Петербурге братьями Андрусонами, принадлежащими к символистской периферии). Отсюда и некоторые обертоны "странных сближений" мистической революции Христа и современной политической революции у богослова Серапиона Машкина, в направленности "Христианского братства борьбы" В.П.Свенцицкого и В.Ф.Эрна, в неожиданных комплиментах революции, скажем, со стороны символиста и будущего католика Эллиса-Кобылинского.

Огромная тема — развертывание католическо-христианской образности в поэзии Блока, от "Стихов о Прекрасной Даме" до соответствующей коды в "Двенадцати", в которых главный образ справедливо удивляет исследователей следующей католической аллюзией: "Особняком стоит фигура И.Х. в "белом венчике из роз" (влияние католической символики? Реплика образа Заратустры у Ницше?)..."[2]

"Протоколы сионских мудрецов" в своей уже даже не "борьбе", а как бы "сшибке" с Западом традиционное русское отождествление католического пафоса с революционным наконец дополняют иудейской интригой... Оставляя в стороне соответствующую инициативу самих "сионских мудрецов", заметим, что едва ли бы какой-нибудь французский автор-реакционер 1890-х решился бы на такое отождествление...

Лишь в начале этого века, в некотором подчас поразительном параллелизме с "Двенадцатью", умирающий Леон Блуа, за несколько дней до Октябрьской революции, ожидает "русских казаков", разрушителей современной заплутавшей цивилизации — как необходимое орудие грядущего в историю Святого Духа(см., в общем, сочувственное к тому отношение в упоминании о Блуа в парижском "Дневнике" немецкого "консервативного революционера" Эрнста Юнгера, а также некоторые самые драматические ходы националистическо-католическо-социалистической мысли Шарля Пеги и сугубо

литературные парадоксы его старшего современника Жозефена Пеладана).

И в “Бесах”, и в “Протоколах” наблюдается некое странное сходство в самой хронологии, сроках и терминах достижения стратегических целей — странное, в виду того, что эти сроки то категорически определяются-уточняются, то отодвигаются — в пределах целого столетия.

Скажем “попутчик” Кармазинов, по словам Петра Верховенского, “так уверенно осведомляется о дне и часе и так почтительно благодарит за полученное сведение, то уж нам-то в себе нельзя после того сомневаться.” (т. 10, с. 289). Кармазинов же, “переселяющаяся крыса”, собирающийся оставить “Святую Русь — страну деревянную, нищую и ... опасную”, предполагает, что на его “век” “Европы хватит, я думаю”: “Если там действительно рухнет Вавилон и падение его будет великое (в чем я совершенно с вами согласен, хотя и думаю, что на мой век его хватит)...” (т.10, с. 287). Итак, с одной стороны исторического времени возникает европейская перспектива длиной с “век” Кармазинова, предполагающего “прожить как можно дольше”, а с другого, в ответ на его вопрос “когда бы это могло бы произойти?” — в России, Верховенский, после нескольких “грубых” реплик, “вдруг проговорил”:

“— К началу будущего мая начнётся, а к Покрову всё кончится.” (т. 10, с. 289).

Вслед за тем, уже именно у Виргинских — глава “У наших” — Верховенский “властно и резко” заговорил: “Кричат: “Сто миллионов голов”, — это может быть, ещё и метафора, но чего их бояться, если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь во сто лет съест не сто, а пятьсот миллионов голов?” (т. 10, с. 315).

Такое же хронологическое колебание заметно и в “Протоколах”:

“Когда мы, наконец, окончательно воцаримся при помощи государственных переворотов, всюду подготовленных ***к одному и тому же дню***, после окончательного признания негодности всех существующих правительств (а до этого пройдет ещё не мало времени, ***может быть, и целый век***), мы

постараемся, чтобы против нас уже не было заговоров". ("Протокол № 15-й" с. 103).

"Ударные" силы нелегальных структур и в "Бесах" и в "Протоколах" предстают при весьма сходных психологических характеристиках.

Верховенский следующим образом характеризует свой, по его словам, "материал":

"... первое, что ужасно действует, — это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности... затем следующая сила, разумеется, сентиментальность... Затем следуют чистые мошенники... ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове!.. Да, именно с этакими и возможен успех." (т. 10, с. 298-299).

Сравни в ПСМ:

"В тайные общества обыкновенно поступают всего охотнее аферисты, карьеристы и вообще люди, по большей части легкомысленные, с которыми нам будет не трудно вести дело..." ("Протокол № 15-й"; с. 105).

В "Бесах" неоднократно произносится священное слово административно-бюрократического обихода — и легитимно-уходящего и революционно-нелегального, рвущегося в будущее — "***центр***". Лембке в раздражении говорит Юлии Михайловне: "Два центра существовать не могут, а вы их устроили два — один у меня, а другой у себя в будуаре, — два центра власти, сударыня, но я того не позволю, не позволю!!" (т. 10, с. 338). Липутин же, пытаясь полемизировать с Петром Степановичем и отвергая "интрижки господина Ставрогина", говорит о последнем, употребляя тот же термин, но уже с другим смысловым наполнением: "Пусть он там принадлежит каким-то таинственным образом к центру, если только в самом деле существует этот фантастический центр, да мы-то этого знать не хотим-с." (т. 10, с 416). В ответ Верховенский весьма категорически утверждает: "Вы всего лишь один узел бесконечной сети узлов и обязаны слепым послушанием центру" (т. 10, с. 418), что вызывает возражение теперь уже со стороны Шигалева: "Ваша ли это программа действий, сообщенная вами в качестве уполномоченного из централь-

ного, но совершенно неизвестного до сих пор и почти фантастического для нас комитета?" (т. 10, с. 918).

"Протокол № 15-й", особенно последовательно воспроизводящий главные стратегемы "Бесов", употребляет ту же лексему в том же её "абсолютистском" значении — в связи с грядущим изгнанием выполнивших свою роль "участников тайных обществ из Европы, как центра нашего правления" и в связи с намерением в ближайшее время усилить масонское движение: "все эти ложи мы централизуем под одно". ("Протокол № 15-й"; с. 104).

Автор "Протоколов" также чрезвычайно внимательно прочел главы "Праздник. Отдел первый" и "Окончание праздника". Прежде всего, эпизод с чтением Кармазинова перед "публикой": "... и ***пошла, и пошла, засвистала машина***"... (т. 10, с. 367). Носитель авторского тщеславия в самых крайних его формах, Кармазинов, спровоцированный "нашими", как бы отбрасывает тень на "аферистов, карьеристов и вообще людей, по большей части легкомысленных, с которыми нам будет не трудно вести дело и ими заводить механизм проектированной нами ***машины***." "Протокол № 15-й"; с. 105).

Кармазинов был встречен "аплодисментом", но вместе с тем "аплодисмент, однако, был коротенький", а вслед за тем "он ждал аплодисмента в ответ на свой вопрос; но аплодисмента не раздалось" и лишь "наконец-то прорвался аплодисмент, правда мелкий, жиденький". (т. 10, с. 365, 368, 369), а в конце чтения возникает как бы соревнование "невежественных возгласов задних рядов" и "аплодисмента другой части публики". (т. 10, с. 369)

Этот эпизод как бы пародийно отреферирован в "Протоколе № 15-м": "гои идут в ложи из любопытства, или в надежде при их помощи пробраться к общественному пирогу, а некоторые для того, чтобы иметь возможность высказать перед публикой свои несбыточные и беспочвенные мечтания: они жаждут эмоции успеха и рукоплесканий, на которые мы весьма щедры... Вы не можете себе представить, как умнейших из гоев можно привести к бессознательной наивности, при условии самообольщения, и вместе с тем, как легко их обескуражить

малейшей неудачей, хотя бы прекращением аплодисментов...” (“Протокол № 15-й”; с. 105).

По словам Верховенского, “***Послушание*** школьников и дурачков достигли ***высшей черты***” (т. 10, с. 324).

“Почти с негодованием заявил молчавший до сих пор Виргинский” — “***о той степени деспотизма и неравенства***”, с которой действует Петр Степанович, на что последний мгновенно откликается напоминанием об обязанности “***слепого послушания*** центру” (т. 10, с. 417–418).

В “Протоколах” этот эпизод самым очевидным образом отзывается в их деспотической “педагогике”” и вообще в тиранических амбициях “мудрецов”:

“Наши подданные” — “они признают самодержавие нашего правителя с благоговением, близким к обоготворению, особенно когда убедятся, что наши ставленники не заменяют его властью своею, а лишь ***слепо*** исполняют его предписания. Они будут рады, что мы всё урегулировали в их жизни, как это делают умные родители, которые хотят воспитывать своих детей в чувстве долга и ***послушания***”. (“Протокол № 15-й”; с. 110).

“наши законы будут кратки, ясны, незыблемы, без всяких толкований, так что их всякий будет в состоянии твердо знать. Главная черта, которая будет в них проведена — ***это послушание*** начальству, ***доведенное до грандиозной степени***”.(“Протокол № 15-й”; с. 107).

“Проповедуя гоям либерализм, мы в то же время держим свой народ и наших агентов в ***неукоснительном послушании***”. (“Протокол № 15й”; с. 106).

“Чтобы народы привыкли к ***послушанию***, надо их приучить к скромности”. (“Протокол № 23-й”; с. 130).

В “Бесах” в полную диалектическую силу представлен метаморфоз “своеволия” в беспросветную зависимость от чужой воли. Шигалев, по его словам, “запутавшись” “в собственных данных”, приходит к “заключению в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю ***безграничным деспотизмом***”. (т. 10, с. 311). К террористическим умозаключениям

Шигалева присоединяется Петр Верховенский: "Рабы должны быть равны: без ***деспотизма*** еще не бывало ни ***свободы***, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина!" (т. 10, с. 322).

"Протоколы" начинают с той же диалектики": "***Где начинается право? Где оно кончается?***", сразу же указуя на его результат — ***"деспотизм капитала,*** который весь в наших руках" и который должен в будущем преломиться в безграничную тиранию. ("Протокол № 1-й"; с. 59, 58).

"Без абсолютного деспотизма не может существовать цивилизация, проводимая не массами, а руководителем их, кто бы он ни был". ("Протокол № 1-й"; с. 61).

Сравни также:

"Наш деспотизм". ("Протокол № 3-й"; с. 69).

Фурьерист-парадоксалист Липутин, среди прочего, обращает внимание на поведение "наших", обсуждающих "предисловие" Шигалева: "Все-таки хоть до чего-нибудь договориться можно, чем сидеть и молчать в виде ***диктаторов***". (т.10, с.313).

"Протоколы" едва ли не буквально начинаются с посылки: "Каждый человек стремится ко власти, каждому хотелось бы ***сделаться диктатором***". ("Протокол № 1-й"; с. 57).

"Бесы" заканчиваются, среди прочего, показаниями Лямшина, рассказавшего "всю подноготную" — по "бумажке", написанной "хотя и начерно, но собственною рукой Петра Степановича", "для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал, для того, чтобы всех обескуражить и изо всего сделать кашу и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циническое и неверующее, но с бесконечною жаждой какой-нибудь руководящей мысли и самосохранения, — вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта и опираясь на целую сеть пятерок, тем временем действовавших..." (т.10, с.510).

Характерно, что эти показания "закольцованы" темой Юлии Михайловны — "***распущенность*** вокруг Юлии Михайловны" (т.10, с.508) и "смешные слова Лямшина о том, что ее только одурачили" (т. 10, с. 510-511).

“Протоколы” “нашу теорию” начинают совершенно сходным образом, до лексических совпадений включительно:

“... если противник сам заразится идеей свободы, так называемым либерализмом и, ради идеи, поступится своей мощью. Тут-то и проявится торжество нашей теории: ***распущенные*** бразды правления тотчас же по закону бытия подхватываются и подбираются новой рукой, потому что слепая сила народа дня не может пробыть без руководителя, и новая власть лишь заступает место старой, ослабевшей от либерализма...

Стоит только народ на некоторое время предоставить самоуправлению, как оно превращается в распущенность.” (“Протокол № 1-й”; с. 58).

“Бесы” и “Протоколы” почти филологически сходствуют в своем отношении к гению и гениальности, к самой личной инициативе.

По словам Верховенского, “Шигалев ***гениальный человек***!.. У него хорошо в тетради... у него шпионство... Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!.. Мы всякого гения потушим в младенчестве...” (т. 10, с. 322-323).

Но вслед за тем Верховенский, “политический... честолюбец?” по недоуменному определению Ставрогина, немедленно обрушивается и на “гениального” Шигалева: “...***но я выдумал первый шаг. Никогда Шигалеву не выдумать первый шаг***. Много Шигалевых! Но один, один только человек в России изобрел первый шаг и знает, как его сделать. Этот человек я.” (т.10, с. 324).

“Протоколы” в тех же, хотя и художественно ослабленных формах обрушиваются на “членов толпы, выскочек из народа, ***хотя бы и гениально умных, но в политике не разумеющих***”, не могущих “выступать в качестве руководителей толпы”. (“Протокол № 1-й”; с. 60).

Далее “Протоколы”, совершенно в “шигалевском” духе, намерены “обескуражить всякую личную инициативу, могущую сколько-нибудь мешать нашему делу. Нет ничего опаснее личной инициативы: ***если она гениальна, она может***

сделать более того, что могут сделать миллионы людей, среди которых мы посеяли раздор. Нам надо направить воспитание человеческих обществ так, чтобы перед каждым делом, где нужна инициатива, у них опускались бы в безнадежном бессилии руки". ("Протокол № 5-й"; с. 76).

В продолжение абсолютной полицейской утопии Верховенского-Шигалева в "Бесах" говорится не только о "полном послушании", но и "***полной безличности***". (т.10, с. 323).

В самом начале "Протоколов" же говорится о том, что "в государстве, в котором плохая организация власти , ***безличие*** законов и правителя, ***обезличенных*** размножившимися от либерализма правами. ("Протокол № 1-й"; с. 59) , — это безличие, таким образом, начинается уже в либеральную эпоху, как знак её и нынешнего, и грядущего кризиса.

"Плохая организация власти" в "Бесах" воплощена прежде всего в фигуре и деятельности губернатора Андрея Антоновича фон Лембке, принадлежавшего "к тому фаворизованному (природой) племени, которого в России числится по календарю несколько сот тысяч и которое, может, и само не знает, что составляет в ней всею своею массой один строго организованный союз. И уж, разумеется, союз не предумышленный и не выдуманный, а существующий в целом племени сам по себе, без слов и без договору, как нечто нравственно обязательное, и состоящий во взаимной поддержке всех членов этого племени одного другим всегда, везде и при каких бы то ни было обстоятельствах". (т. 10, с. 241).

Немецкое происхождение плохого администратора, раздраженно подчеркнутое писателем в связи со всей немецкой субкультурой России, в "Протоколах", наряду с постоянным там образом дезориентированного либерализмом чиновника, одновременно стало возможным источником (или одним из них) к созданию зловещей картины еврейского подполья и засилья.

Фон Лембке — и "немец", и марионетка, с легкой жениной руки, в руках либералов и радикалов (что, между прочим, гротескно подчеркнуто его "кукольными" интересами), — "отозвался" в соответствующем образе "Протоколов":

“Администраторы, выбираемые нами из публики, в зависимости от их рабских способностей, не будут лицами, приготовленными для управления, и потому они легко сделаются пешками в нашей игре, в руках наших ученых и гениальных советчиков, специалистов, воспитанных с раннего детства для управления делами всего мира.” (“Протокол № 2-й”; с. 64).

Не исключено, что в этом пассаже отразилась гротескная зависимость носителя “административного восторга” в “Бесах” и от жены Юлии Михайловны, от которой “он схватил лоск новейшего необходимого либерализма” (т. 10, с. 244), и от Петра Степановича, вполне превратившего фон Лембке в “пешку” в своей игре, и, наконец, в связи со специфическим увлечением последнего, клеящего во внеслужебное время кукольный театр.

Возможно, последнее обстоятельство — источник многозначительной реплики по поводу беспомощных “гоев”-администраторов с их “теоретической рутиной”:

“... нам нечего с ними считаться — пусть они себе до времени веселятся...” (“Протокол № 2-й”; с. 64).

И уж совсем рефлекс на Юлию Михайловну и её среду: “наши агенты будут из числа как высшего, так и низшего общества, из среды веселящегося административного класса...” (“Протокол № 17-й”; с. 115).

И в “Бесах”, и в “Протоколах” возникает тема повального народного пьянства, — обстоятельство, которым пользуются “наши” и в том, и в другом текстах.

Верховенский, дразня фон Лембке, по словам последнего, в его “присутствии утверждает, что правительство нарочно опаивает народ водкой, чтоб его абрютировать и тем удержать от восстания.” (т. 10, с. 245).

Верховенский же, уговаривая Ставрогина примкнуть к революции, заявляет: “Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ... Русский бог уже спасовал перед “дешевкой””. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах: “двести розог, или тащи ведро”. О, дайте взрасти поколению. Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они попьянее стали!

... Слушайте, я сам видел ребенка шести лет, который вел домой пьяную мать, а та его ругала скверными словами. Вы думаете, я этому рад?" (т. 10, с. 324).

Сравни:

"Взгляните на наспиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление которого дано вместе со свободой. Не допускать же нам и наших дойти до того же... Народы гоев одурманены спиртными напитками..." ("Протокол № 1-й"; с. 61).

Характерно, что затем сразу следует пассаж о христианской молодежи, которая "одурела от классицизма и раннего разврата, на который её подбивала наша агентура — гувернеры, лакеи, гувернантки — в богатых домах, приказчики и проч., наши женщины — в местах гоевских увеселений. К числу этих последних я причисляю и так называемых "дам из общества", добровольных последовательниц их по разврату и роскоши." ("Протокол № 1-й"; с. 61).

Тема "гувернанток" и "дам из общества" здесь удивительно напоминает один из центральных эпизодов в "Бесах" — "праздник", устроенный гранддамой губернского города, среди прочего, в пользу "бедных ***гувернанток***", что, как известно, завершилось версифицированным скандалом — в виде стихотворения "Здравствуй, здравствуй, гувернантка!" капитана Лебядкина, провокационно прочитанного одним из "наших".

Совпадает даже сама "номенклатура" либеральных и радикальных доктрин и положений.

В "рацее", читаемой Кармазиновым — "Есть преступление, нет преступления; правды нет, праведников нет, атеизм, дарвинизм..."

"Список" тех же, хотя уже и как бы модернизированных мифов "интеллигентных гоев":

"обратите внимание на подстроенные нами успехи Дарвинизма, Марксизма, Ницшетизма. Растлевающее значение ... этих направлений нам то, по крайней мере, должно быть очевидно." ("Протокол № 2-й"; с. 65).

"Шигалевщина", по словам ее и панегириста, и критика "слева" Верховенского-сына, это, прежде всего, "шпионство":

“каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому”. (т. 10, с. 322).

В “Протоколах” соответствующая стратегия доводится до некоей тоталитарно-административной виртуозности:

“Мы будем всё видеть без помощи официальной полиции, которая в той форме её прав, которую мы выработали для гоев, мешает правительствам видеть. При нашей программе треть подданных наших будет наблюдать за остальными из чувства долга, из принципа добровольной государственной службы. Тогда не будет постыдно быть шпионом и доносчиком, а похвально...

Эта бесправная, неполномочная на какое-либо самоуправство, а следовательно, безвластная полиция будет только свидетельствовать и докладывать, а проверка ее показаний и арест будут зависеть от ответственной группы контролеров по делам полиции... Не донесший о виденном и слышанном по вопросам политики тоже будет привлекаться к ответственности за укрывательство...” (“Протокол № 17-й”; с. 115).

“Протокольный” панегирик “нашей интернациональной агентуре, обладающей миллионами глаз, взоров, не преграждённых никакими границами” (“Протокол № 2-й”; с. 64), удивительно напоминает признания в “Бесах” после “катастрофы” “советника Кубрикова”, который “объявил, что в продолжение целых трех месяцев несомненно состоял под влиянием Интерналки” — “хотя и не мог представить никаких документов, кроме того, что “ощущал всеми своими чувствами”. (т. 10. с. 355).

“Шпионство” уже пронизывает сами характеры и биографии героев “Бесов”.

Рассказчик, наблюдая Липутина, делает вывод: “Человек этот, по-моему, был настоящий и прирожденный шпион” (т. 10, с. 68).

Впрочем, сам Липутин становился жертвой “шпионства” Верховенского-сына, подкупившего “липутинскую служанку, которой с самого начала платил деньги за шпионство”. (т. 10, с. 418).

Сам же Петр Степанович, слывший когда-то “заграничным революционером”, уже в качестве “бывшего революционера”, “явился в любезном отечестве... чуть ли не с поощрениями”, как “будто бы где-то принес покаяние и получил отпущение, назвав несколько прочих имен, и таким образом, может, и успел уже заслужить вину, обещая и впредь быть полезным отечеству”.

Впрочем, в разговоре с Лембке Верховенский сам говорит, что “о том, что я видел за границей, я, возвратясь, уже кой-кому объяснил, и объяснения мои найдены удовлетворительными...” (т.10, с.273). Не случайно Ставрогин задает ему фундаментальный для понимания всей фабульной конструкции романа, означенной в конце самым таинственным исчезновением Петра Степановича, вопрос:

“— ...А слушайте, Верховенский, вы не из высшей полиции, а?

— Да ведь кто держит в уме такие вопросы, тот их не выговаривает” (т. 10, с. 300).

“Протоколы” очевидным образом резонируют на линию Шатова-Ставрогина, на их отношения, бесконечно осложненные тем, что второй, в видах некоей интеллектуальной провокации, посвятил первого в одну из своих доктрин — в идею русского народа-”богоносца”, идею того, что “***Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца***.” (т.10, с.198)

Эмблематическая фамилия Шатова, мятущегося в самой грандиозной идеологической амплитуде (“трудно менять богов”, — по словам героя, т.10, с.196), отозвалась в одном из центральных протокольных образов:

“современное ***шатание*** всех властей” (“Протокол № 1-й”;с. 60)

Вслед за утверждением о том, что “вы не можете себе представить, как умнейших из гоев можно привести к бессознательной наивности, при условии самообольщения”, следует вывод: “Эта их психология значительно облегчает нам задачу их направления” (“Протокол № 15-й”; с. 105–106) и возникает точный “космополитический” парафраз националистическо-идеологического “обольщения” Шатова Ставрогиным, кстати, называющим того “психологом”:

"***Мы посадим их на конька мечты о поглощении человеческой индивидуальности символической единицей коллективизма***..." ("Протокол № 15-й"; с. 106).

Яростное же шатовское обращение к идеологу-соблазнителю: "И вы уже смеетесь, ***о племя***!" (т. 10, с. 196) преломляется в "Протоколах" в самодовольно-националистическое: "***наше гениальное племя***". ("Протокол № 17-й"; с. 115).

Несомненное сходство предстает в "юридических" образах обоих текстов.

"Бесы":

"Прокурор, трепещущий в суде, ***что он недостаточно либерален, наш, наш***". (т. 10, с. 324)

ПСМ:

"... ***наши*** судьи будут знать, что желая похвастать глупым милосердием, они нарушают закон о правосудии, который создан для примерного назидания людей наказаниями за поступки, а не для выставки духовных качеств судьи... Вообще же наши судьи будут выбираемы нами из среды только тех, которые твердо будут знать, что их роль карать и применять законы, а ***не мечтать о проявлении либерализма***...

Ныне гоевские судьи творят поблажки всяким преступлениям, не имея правильного представления о своем назначении..." ("Протокол № 15-й"; с. 108–109).

Из "Бесов" в "Протоколы" перекочевали даже некоторые портретные багатели героев Достоевского, некоторые характерные сюжетные мелочи.

В "Бесах" неоднократно подчеркивается "баранье" начало губернатора фон Лембке, совершенно зависимого, "кукольного" персонажа в "бесовском" действе — изнанке его мнимой "величавости":

" — Гм. Вижу, что он виновен в прокламациях с топором, — почти величаво заключил Лембке...

Лембке пристально уставился на Петра Степановича. Варвара Петровна правду отнеслась, что у него был несколько бараний взгляд, иногда особенно" (т. 10, с. 275).

Сравни в ПСМ:

"Эта их психология значительно облегчает нам задачу их направления. Эти тигры по виду имеют бараньи души, а в головах их ходит сквозной ветер." ("Протокол № 15-й"; с. 106).

Та же Варвара Петровна вынуждена вступить в гротескный диалог с капитаном Лебядкиным — по поводу "великого баснописца Крылова", по хрестоматийной модели которого "возник" и лебядкинский "таракан", попавший в "стакан, полный мухоедства":

" — Вы хотите прочесть какую-то басню Крылова?

— ... всякий дурак поймет, не перебивайте, не перебивайте, вы увидите, вы увидите..."(т. 10, с. 114).

Сравни:

"Гои — баранье стадо, а мы для них волки. А вы знаете, что бывает с овцами, когда в овчарню забираются волки?..." ("Протокол № 11-й"; с. 92).

Напомним, что "Протоколы" композиционно несколько неожиданно завершаются заботливым предуведомлением о необходимости эротической самодисциплины "Царя Иудейского", каковой "не должен находиться под властью своих страстей, особенно же — сладострастия: ни одной стороной своего характера он не должен давать животным инстинктам власти над своим умом" ("Протокол № 24-й"; с. 133).

Как уже отмечалось, этот пассаж в "Протоколах" самым явственным образом восходит к предсмертному монологу пушкинского Бориса Годунова, обращенного к сыну Федору — о вреде "порочных наслаждений" для царского будущего.

Но, в общем, эта странная кода "Протоколов" вполне объясняется в виду возможной ставрогинской инерции в "протокольном" же образе "Царя Иудейского".

Бесы в "Бесах" прочат Ставрогина, который, кстати, "заезжал в Иерусалим" (т. 10, с. 45), на роль "Ивана-царевича", абсолютного монарха, поставленного мировой революцией: "Слушайте: папа будет на Западе, а у нас, у нас будете вы!" (т. 10, с.323) (удивительное сходство с неосуществленным замыслом Достоевского 1860-х романа о царевиче — даже царе — "***Иване Шестом***", которого пытается поставить на царство сверхавантюрист ***Мирович***).

В “Протоколах” предстает образ “Царя Иудейского” как окончательно наследующего путь “Символического Змия” — “Сегодня могу вам сообщить, что наша цель уже в нескольких шагах от нас. Остается небольшое пространство, и весь пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой цикл Символического Змия, каковым мы изображаем наш народ. Когда этот круг сомкнется, все Европейские Государства будут им замкнуты как крепкими тисками” (“Протокол № 3-й”; с. 66) — во многом восходит именно к образу “Ивана-царевича” (название главы восьмой части второй) и “Премудрого змия” (название главы пятой части первой), собственно, к представлению на постреволюционное царство кандидатуры Николая Всеволодовича (неслучайный, совершенно “победительный” антропоним героя).

Но ведь претендента в романе постоянно сотрясают в “протокольных” терминах, “страсти, особенно же — сладострастие”. По собственному его признанию, даже “звериное сладострастие” (т. 11, с. 14; пропущенная глава “У Тихона”). В самом начале той же “исповеди” говорится: “Я, Николай Ставрогин, отставной офицер, в 186- году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия” (т. 11, с. 12). В предсмертном письме-исповеди же Даше также сказано о себе — “подлое насекомое” (т. 10, с. 514). Сам возможный фактотум поставления “принца Гарри” на царство Петр Верховенский говорит о нем: “дрянной, блудливый, изломанный барчонок... аппетит у вас волчий!..” (т. 10, с. 326).

В “Протоколе № 11-м”, как бы вслед указанному в “Бесах” эпитету сказано прямо: “... мы ... волки”, но от избыточного ставрогинского сладострастия автор “Протоколов” необходимо затем дистанцируется и настолько энергично, что именно на этой ноте их завершает...

“Сладострастие хуже всего расстраивает ***умственные способности и ясность взглядов***, отвлекая мысли на худшую и наиболее животную сторону человеческой деятельности”. (“Протокол № 24-й” и последний, с. 133).

Последняя строчка “Бесов” — в связи с тем, что в самоубийстве героя “всё означало преднамеренность и сознание

до последней минуты": "наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли умопомешательство" (т. 10, с. 516).

В этом контексте завершающая дефиниция героя — "гражданин кантона ***Ури***" — эксплицирует свое эротическое значение, выявляет то "содержание" "Ивана-царевича", от которого так спешит отстраниться автор "Протоколов" — в самом их конце.

Итак, "Протоколы", при всей скромности их объема, множество раз резонируют — и идеологически, и даже стилистически — теми или иными мотивами "Бесов" и "Братьев Карамазовых" (в особенности отозвалась в "Протоколах" "Легенда о Великом Инквизиторе").

При этом если "Бесы" и "Братья Карамазовы" как бы "реферируют" самое историю, ее наиболее опасные тенденции, то "Протоколы" фельетонистически реферируют прежде всего романы самого Достоевского (собственно, некоторые их стороны), и мировоззренчески, и "лингвистически" "одолжаясь" у них, заимствуя определенные элементы из их антинигилистического и другого состава — на уровне аллюзий и реминисценций, подчас уже на уровне скрытой и явной цитаты, о то и на уровне прямого плагиата. "Протоколы" транслируют тот бесконечно сложный состав именно в элементарном направлении газетно-фельетонистического жанра, в направлении столь же элементарной читательской рецепции — то есть в массовое сознание его первого поколения.

"Протоколы" — самая примитивная аннотация указанных романов Достоевского. Вот уж подлинно идея здесь вышла на улицу.

Биографическое присутствие в романном мире Достоевского Головинского-отца приближает нас к пониманию всей частотности аллюзий из того мира — в ПСМ.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Итак, тексты М.В. Головинского, возникшие после появления ПСМ, постоянно резонируют "протокольной" семантикой. Всё сочинённое доктором Фаустом в 1900–10-ых годах с удивительным постоянством возвращается и к содержанию, и, скажем так, к образности ПСМ, повторяя их и по мысли и по слогу. Хотя нередко уже с другими идеологическими знаками, леволиберальными или даже леворадикальными. Что является проблемой уже не столько "текстологии" ПСМ, сколько биографии человека, их сочинившего.

Мы же ставим перед собой единственно "текстологическую" задачу по выявлению в беллетристике и публицистике М.В.Головинского всей суммы содержащихся в них "протокольных" аллюзий и реминисценций и просто очевидных повторов, задачу, необходимо приближающую нас к решению проблемы авторства ПСМ. Полагаем, что — в той или иной степени — сходство между текстами ПСМ и указанной беллетристикой и публицистикой на проблеме их авторства ставит некую достаточно конкретную персональную точку. Ставит средствами именно "текстологическими".

И вот когда эта книга уже готовилась к печати, русский историк Михаил Лепехин выступил с рядом сугубо архивных биографических сообщений, связанных с фигурой Матвея Головинского и с достаточной степенью убедительности подтверждающих возможность создания им ПСМ (см. "L'Express sommaire", 2524 — Semaine du 18 an 24 novembere 1999, p. 100–110). Таким образом, вслед за текстологическим обликом автора ПСМ, начинает вырисовываться и его самый конкретный "архивно"-биографический силуэт.

Автор настоящей книги чрезвычайно благодарен своему русскому коллеге за его усилия по созданию политической и другой биографии М.В.Головинского, весьма выразительно дополняющую представленную в этой книге его “текстологию”.

И вместе с тем автор, даже получив в доказательство своих построений те или иные архивные и другие, выявленные русским историком факты вокруг той фигуры, всё же ещё раз выражает своё самое глубокое сожаление по поводу экзистенциальной ограниченности филологических или вот историографических разысканий вокруг "Протоколов", вокруг их авторства, вокруг других схожих явлений в столь трагическом человеческом присутствии на земле.

Речь идёт о метафизической невозможности на пути тех разысканий до конца проникнуть в те "глубины естества, в запретные уголки сердца, где притаилась пытка и смерть" (Андре Мальро).

14 июля 2000 г.
Киев

ПРИМЕЧАНИЯ

Предисловие

[1] Taguieff Pierre-André. Les Protocoles des sages de Sion. T.1. Introducion a l'étude des Protocoles... T. 2. Études et documents... — Paris: Berg International, 1992.

Cohn Norman. Warrant for genocide. The myth of the Jewich world conspiracy and the Protocols of the elders of Zion. — New York: Harper and Row 1967.

Рус. перевод: Кон Норман. Благословение на геноцид. Миф о всемирном заговоре евреев и "Протоколах сионских мудрецов." [Пер. с англ. С.С.Бычкова. Общая редакция и послесловие Т.А.Карасевой и Д.А.Черняховского]. — М.: Прогресс, 1990.

De Michelis Cesare G. Les Protocoles des sages de Sion. Philologie et Historie // Cahiers du Monde Russe. Russie — Empire russ. Union Soviétique — États indépendants. — Volum 38(3). — 1997. — Juillet-Septembre. — P. 263-305.

Tazbir Janusz. Spiskowa teoria dziejyw w literackim zwierciadle. В кн. этого автора: Od Haura do Isaury. Szkice o literaturze. Panstwowy Instytut Wydawniczy. — Warszawa, 1989. — S. 210-232.

Tazbir Janusz. Protokoly mкdrcyw Syjonu. Autenyk czy falsyfikat. — Varsovie: Interlibro, 1992.

Hagemeister Michael . Wer war Sergey Nilus? // Ostkirliche Studien — 40(1). — 1991.

Дудаков Савелий. История одного мифа: Очерки русской литературы XIX–XX вв.— М.: Наука, 1993.

Золотоносов Михаил. "Мастер и Маргарита" как путеводитель по субкультуре русского антисемитизма. — СПб.: ИНАПРЕСС, 1995.

[2] См. обстоятельный аппарат в кн.: Неизвестный Нилус. Тт. 1-2. [Сост. Р.Багдасаров и С.Фомин]. — М., 1995; а также: Сергей Александрович Нилус (1862-1929). Жизнеописание. [Сост. С.Половинкин]. — М., 1995.

[3] См. следующие работы автора, выполненные в русле указанной цели:

Ветхий Завет: философия священная и филология мирская // Collegium. — 1994. — № 1. — С. 39–52.

До єврейсько-українських літературних зв'язків // Хроніка 2000. Україна-Ізраїль. — Випуск 21-22. — С. 44-57.

Новая Украина и евреи // Мабат ноар. –– 1995. Январь. С. 1, 6.

"Протоколы сионских мудрецов" — к анатомии одного мифа: Предварительные заметки // Єгупець [Художньо-публіцистичний альманах Інституту юдаїки. Київ: "Сфера"] — Вып. 3. — 1997. — С. 4-17.

Вертер, нарешті написаний (Предисловие к укр. переводу повести В.П.Катаева "Уже написан Вертер") // Всесвіт. — 1998. — № 5-6. — С. 108-113.

На материалах исследований автора подготовлен раздел "Украинская литература" в кн.: "Краткая еврейская энциклопедия". Т. 8 (Серия — Фашизм). Иерусалим, 1996. — Стлб. 1268–1278.

Проблемы, связанные с происхождением "Протоколов сионских мудрецов", были рассмотрены в ряде докладов автора (славистический конгресс в Иерусалиме в 1996 г.; конференции по проблемам истории еврейства на Украине в 1997 и 1998 гг.)

[4] Мальро Андре. Годы презрения. В кн.: Мальро Андре. Зеркало лимба. Художественная публицистика. [Пер. Л.Н.Токарева и Я.Ю.Богданова]. — М.: Прогресс, 1989. — С. 122.

"Годы презрения" — название, которое ввёл в русскую традицию первый переводчик микроромана и друг его автора Илья Эренбург (русский перевод появился сразу вслед за самим романом в 1935 г.). Но характерно, что тогда же в советской печати были отдельные попытки переводить название романа Мальро ("Le temps du mépris"), в связи с самой отрицательной семантической энергией соответствующей французской лексемы, как "время уничтожения" и даже "время резни"...

Название романа Мальро, написанного едва ли не в первые сезоны нацистской диктатуры, как бы предваряет термин, появившийся в ее конце, "геноцид" (при этом совершенно не исключено известное влияние образа времени, предложенного французским писателем в указанном названии, на возникновение того термина).

В связи с трагической филологией века, с самого своего начала как бы инстинктивно искавшего "означающее" для "означаемого" в виде бывших тогда еще внове массовых убийств, характерно, что в "Улиссе" Джеймса Джойса в "потоке сознания" Леопольда Блума в Дублине 1904 года, в катастрофической близости от эпизода, где в

“харчевне Дэви Берна” недобро толкуют о “масонстве” героя-еврея, всплывает соответствующее обозначение: “Все эти женщины и дети, что сгорели в Нью-Йорке во время морской прогулки. Гекатомба”. (Джойс Джеймс. Улисс. [Пер. В.Хинкиса и С.Хоружего]. — М.: Республика, 1993. — С. 140). Комментарий С. Хоружего: “16 июня 1904 года дублинские газеты сообщили о катастрофе с прогулочным пароходом “Генерал Слокам” в нью-йоркской гавани: в результате пожара на борту погибло 500 человек”. (С. 591).

В оригинале упомянутый пассаж завершается же — “Holocaust” (Joyce James. Ulysses. With an Introduction by Declan Kiberd. Penguin Books, 1992. — P. 233.).

Совершенно поразительный квазишекспировский пассаж Стивена Дедалуса по поводу “Гамлета”: “Гамлеты в хаки стреляют без колебаний. Кровавая бойня пятого акта — предвидение концлагеря, воспетого Суинберном” (Джеймс Джойс, Улисс.— С. 144).

“Улисс” создавался в 1914–21 гг.

I. Введение в проблему

[1] Вельфлиновой имперсональной теории “типов видения и пластического выражения” в русской традиции методологически вполне соответствует столь же “безавторская” поэтика досовременной словесности в истолковании А.Н.Веселовского и отчасти сходные построения русского формализма с его постоянным острым интересом к сверхличной, “внебиографической” стороне более позднего литературного процесса. Попытку выявить специфику чередования “безличного” и индивидуально-авторского начал в культурном творчестве см. в нашей статье: “Биография как категория культуры. Предварительные заметки”// Студії з архівної справи та документознавства. Т. І. — Київ, 1999. — С. 82–85 (На укр.языке). В настоящем исследовании — наряду с заявленным в нем стремлением выявить искомую, самую конкретную авторскую личность, создавшую ПСМ, — важное место занимает также проблема их именно имперсональности, подчеркнутой анонимности, безличности, этих мировоззренческих производных от соответствующих, столь константных черт и характеристик массовых обществ XX века и одновременно, в своем возможном резонансе, по-своему искусно рассчитанных на те черты.

Лабораторные попытки к выявлению конкретного автора подчеркнуто анонимного текста см.: Скуратовский В.Л. “Слово о полку Игореве” в контексте межлитературных и межкультурных связей

// Тезисы Черниговской областной научно-методической конференции, посвященной 800-летию "Слова о полку Игореве". 21–22 октября 1986. — Чернигов, 1986. — С. 81–82.

[2] Далее все ссылки на это издание (Репринт; без места и без года издания) — в тексте.

[3] См. характерные выпады против этой эмблематической выставки в культурологическом наследии автора "философии общего дела" Н.Ф.Федорова.

[4] См. об этом обобщающее замечание позднего П.Б.Струве, некогда первым указавшего на парадокс "феодально-социалистического" генезиса марксизма: "В этом учении был эволюционный исторический элемент, укорененный глубоко в истории, и по существу консервативный и восходящий, как я позже показал, к влиянию, с одной стороны, Жозефа де Местра (через Сен-Симона и его учеников), а с другой –- к исторической школе права (Савиньи-Пухта)" (Струве П. Мои встречи и столкновения с Лениным // Возрождение [Paris]. — 1950 — Тетрадь десятая. — Июль-август. — С. 113).

[5] Лаконичный, но предельно обобщенный "портрет" соответствующего явления см. в соответствующей главке "Манифеста Коммунистической партии", давшего ему данное название.

[6] Об этом см.: De Michelis Cesare G. Les protocoles des Sages de Sion // Philologie et histoire. Cahiers du Monde Russe. Russie — Empire russ. Union Soviйtique – Йtats indйpendants. — Volume 38(3). — 1997. — Juillet-Septembre. — С. 284 (В связи с отсутствием в издании Бутми де Кацмана соответствующего пассажа-плагиата из Жоли).

См. также: Моммзен Т. Рим. Т. 3. — М., 1880. — С. 396.

Там же. — Т. 2 — кн.4. — С. 244.

Иванов Вячеслав . О Моммзене // Весы. — 1904. — № 2.

[7] Арсеньев К. Зола. // Энцикл. словарь Брокгауз-Ефрон. Т. XII. — СПб., 1989. — С. 630.

[8] Тургенев И.С. Полн.собр.соч. и писем. Письма в 13 томах. Т. 5. — М.-Л.: Изд. АН СССР, 1963. — С. 343, 367.

Итак, "Протоколы", впервые опубликованные в России 1903-1907 гг., стремительно входят в массовый обиход сначала именно в России, а буквально в первые же сезоны после первой мировой войны в Германии, а вслед за тем — в англосаксонском мире и далее, включая просыпающуюся к активной исторической жизни послевоенную арабскую ойкумену.

И вот, в самую пору "плодоносного цветения" сюжета, положенного в основу "Протоколов", на пороге 1920-х был выявлен — и

весьма убедительно — как бы прототекст “Протоколов”, в немалой своей части восходящих к книге французского публициста времен Второй империи Мориса Жоли “Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли”, появившейся якобы в Брюсселе в 1864-м году. “Диалог” — стилистически очень элегантный памфлет, направленный против Наполеона III, его “авторитарной” — именно так тогда называемой — Второй империи, против самого принципа бонапартизма. Соответствующие острые пассажи Жоли были во множестве подхвачены, но уже с другими знаками, с другими политическими целями, анонимным автором “Протоколов”.

Плагиат, казалось, был филологически, текстологически выявлен, а на известном Бернском процессе (октябрь 1934 — май 1935) был валифицирован и юридически. В настоящее время филологически-генетические разыскания вокруг “Протоколов” были успешно продолжены — в самых разных направлениях.

[10] См. об этом в нашей статье: “Протоколы сионских мудрецов” — к анатомии одного мифа. Предварительные заметки // Єгупець.— Вип. 3. — 1997. — С. 9–14.

[11] Об основных исторических смыслах и контурах того конфликта см. в нашей статье: Пейзаж после битвы — пейзаж перед битвой? К феноменологии текущего тысячелетия. Предварительные заметки // Дух і Літера [Київ]. — 1997. — № 1-2. — С. 137-152 (На укр. языке).

[12] А.Я.(А.Яновский). Глинка (Дмитрий Григорьевич) // Энцикл. словарь Брокгауз-Ефрон. Т. VII. — СПб., 1893. — С. 852-853.

[13] Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1881-1880-х годов. — М.: Изд. Московского ун-та, 1964. — С. 200.

[14] Чайковский Петр. Полн.собр. соч. Т. VIII. — М.: Музгиз, 1963. — С. 66.

[15] Drumond Eduard . La France Juive devant l’Opinion Trentieme Mille. Paris: Marpolon et Flammarin. [s.a.] 26 Rue Racine. — P. 44-46.

См. также рус. перевод: Дрюмон Э. Еврейская Франция. Т. 1. — Харьков, 1895.

Бывают до гротеска “странные сближения” не только в самой семантике той или иной книги, но и в связи с его топографией: на улице Расина, невдалеке от дома, где находилось издательство, выпустившее книгу Дрюмона, в мае 1926 г. был убит украинский военный лидер Петлюра, который, вопреки легенде о нем, вовсе не был единомышленником Дрюмона.

[16] Дудаков Савелий. История одного мифа... — С. 187. Исследователь ссылается на мюнхенское издание книги полковника Ф.В.Винберга (1927. — С. 304-307).

[17] См. об этом кружке очень интересное сообщение в кн.: Золотоносов Михаил. "Мастер и Маргарита" как путеводитель по субкультуре русского антисемитизма. — ИНАПРЕСС, 1995. — Прим. 77[а].— С. 65.

[18] Выготский Л.С. Психология искусств. — М.: Искусство, 1968. — С. 172.

В духе авангардизма 1920-х выдающийся психолог совершенно "остраняет" семантику крыловской басни, отказывая ей в "простом зеркальном отражении исторической действительности" (Там же). См. также: Фомичев С.А. Басня Крылова "Волк на псарне" и ее литературный источник // Сравнительное изучение литератур. — Л., 1976. — С. 31-34.

Яростную полемику с "внеисторическим" толкованием басни Крылова см. в ст.: Стенник Ю.В. О специфике жанровой природы басен // Русская литература. — 1980 — № 1. — С. 115-118. Впрочем, исследователь здесь едва ли не пародийно преувеличивает патриотически-исторический повод: "Серый походный сюртук завоевателя — Наполеона и седые волосы русского фельдмаршала — вот опорные признаки ассоциаций исторического порядка" (Там же. — С. 117).

[19] Пушкин А.С. Полн. собр.соч. в 10 тт. Т. 7. — М.-Л.: Изд. АН СССР, 1949. — С. 512.

[20] Там же. — С. 449.

[21] Лернер Н.О. Рассказы о Пушкине. — Ленинград: Прибой, 1929.— С. 195.

[22] Белецкий А.И. Избранные труды по теории литературы. [Под общей ред. Н.К.Гудзия]. — М.: Просвещение, 1964. — С. 39.

[23] Попытка систематизировать средства и цели пушкинского "цитирования" была представлена в нашем докладе "Цитата у Пушкина", прочитанном в Государственном литературном музее в Москве в июле 1979 г.

[24] См. об этом — на материале романистики Томаса Манна — в нашей книге "Проблемы искусства в немецком романе XX века". — Киев, 1972. (На укр. языке).

[25] Белецкий А.И. Избранные труды по теории литературы. — С. 38–39. О "центонах" французского писателя см. там же на с. 85.

[26] Грин А.С. Собр. соч. в 6 тт. Т. 5, — М.: Правда, 1965. — С. 42.

О сложной типологии той зависимости у Грина — в сторону эстетического преодоления им "китча" — см. нашу статью: Продвинуть

человечество к счастью... (К столетию со дня рождения Александра Грина) // Литературная газета. — 1980.— 20 августа.

[27] См. об этом, например, в письме А.П.Чехова, возмущенного публикациями "Нового времени", Ал.П.Чехову от 23 февраля 1898 г. (А.П.Чехов. Собр. соч. в 12 тт. Т. 12. — М.: ГИХЛ, 1957. — С. 218).

[28] См.: Зорин В.А. Плагиат // КЛЭ.Т. 5. — М.: Сов. энциклопедия, 1968. — Столб. 785-786 (со ссылкой на газету "Жизнь". — 1885. — № 125).

[29] Немзер А. Затянувшаяся шутка (О Павле Петровиче Вяземском и других сочинителях этой книги). В кн.: Вяземский Павел. Письма и записки Оммер де Гелль. — М. : Худож. лит., 1990. — С. 17.

[30] Воронский А.К. За живой и мертвой водой / Воронский А.К. Избранное. — М.: Худож. лит., 1976. — С. 490–491.

[31] Дудаков Савелий . История одного мифа... — С. 96–98.

[32] Блок А. Собр.соч. в 8 тт. Т.3. — М.-Л.: Гос. изд. худож. лит. — 1960. — С. 304. Далее по этому изданию.

[33] Новости. — 1892 — 9 января. Цит. по кн.: Русская литература конца XIX — начала XX в. Девяностые годы. Летопись литературных событий 1892-1900 гг. — М.: Наука. — С. 267.

[34] См. "протокол" решения Театрально-литературного комитета от 14 сентября 1896 г. о разрешении "Чайки" к постановке (Там же. — С. 354).

[35] Из письма В.Г.Короленко Р.С.Ивановской от 24 мая 1893 г. (Там же. — С. 290).

[36] Нилус Сергей. Близ грядущий Антихрист и царство диавола на земле. — Сергиев Посад, 1911. — С. 44–49 [Репринт].

[37] Цит. по ст: Лутановский А.В. Документальность повествования — жанровый признак рассказов Н.С.Лескова // Русская литература. — 1980. — Т. 1. — С. 144.

[38] Цит. по ст.: Габель М.О. Академик А.И.Белецкий — исследователь Н.С.Лескова // Литературное наследство. Т.87. Из истории русской литературы и общественной мысли 1860–1890 гг. — М.: Наука, 1977. — С. 650.

[39] Белецкий А.И. Избранные труды по истории литературы. — С. 107.

[40] Берковский Н.Я. Статьи о литературе. — М.-Л. ГИХЛ, 1962. — С. 285.

[41] Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. — М., 1957. — С. 335-336.

В некоторой связи с этой чертой пушкинского стиля Марина Цветаева-"пушкинистка" так откликнулась на документы процесса

Жанны д'Арк: "... в Иоанне протокол равен преданию" (Цветаева Марина. Мой Пушкин. — М.: Сов. писатель, 1967. — С. 258).

[42] Лутановский А.В. Документальность повествования — жанровый признак рассказов Н.С.Лескова // Русская литература. — 1980. — № 1. — С. 144.

[43] Белый Андрей. Петербург. Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. [Издание подготовил Л.К.Долгополов]. — М.: Наука, 1981. — С. 151.

[44] Там же. — С. 664.

[45] Там же. — С. 152.

[46] Там же. — С. 664.

[47] Там же. — С. 154.

См. в ст., возвестившей миру "Протоколы": "На самой крайней и самой слабой границе нашей растет идея панмонголизма, замыкающая нас в волшебный круг страшных утопий" (Меньшиков М. Из писем к ближним. XVI. Заговоры против человечества // Новое время. — 1902 — № 9372. — 1(20) апреля . — С. 3). См. соответствующий комментарий издателя к "Протоколу № 7" (Нилус Сергей. Близ грядущий Антихрист и царство Диавола на земле.— Сергиев Посад, 1911. — С. 80-81).

[48] Белый Андрей Петербург. — С. 154.

[49] Там же. — С. 164-165.

[50] Чисто беллетристически этой реальной "портретной" деталью генерала А.В.Герасимова затем воспользовался Роман Гуль в своем романе "Азеф" (М.: Скиф-Профиздат, 1991. — С. 215, 219, 231).

[51] Интересное замечание об истории херасковского гимна — от его исполнения в масонских ложах до воскрешения во власовских частях (со ссылкой на авторитет "временами" праворадикального зарубежного русского автора В.Н.Ильина) — см. в кн.: Назаров Михаил. Миссия русской эмиграции. Т. 1. — Ставрополь: Кавказский край, 1992. — С. 135, 142; необходимо указать, что в комментариях неточно указан год появления второго тома московского сборника со статьей Розанова И.Н.о Хераскове "Масонство в его прошлом и настоящем". Поставлена цифра 1914 вместо 1915.

См. также: Очерки по истории русской журналистики и критики. Том первый. XVIII век и первая половина XIX века. — Л.: ЛГУ, 1950. — С. 173.

"Сионский вестник", выходивший с января 1806 г., "продолжил духовно-просветительские журналы Новикова ("Вечерняя заря", "Покоящийся трудолюбец") и Лопухина, с которым Лабзин состоял в переписке. Однако, претендовавший без духовной

цензуры распространять истинные понятия о вере и христианстве (См.: № 1. — С. 7-9) и заполнявшийся почти целиком переводами Лабзина западных мистиков и его собственными статьями (печатались еще сочинения украинского философа XVIII в. Г.С.Сковороды и Лопухина), “Сионский вестник” был закрыт в том же году (последний номер — сентябрьский) по инициативе обер-прокурора Синода А.Н.Голицина и не без согласия Александра I <...> В декабре 1812 <...> Лабзин примкнул к библейскому обществу, созданному по идее Голицина, и стал его директором. Обществу покровительствовал Александр I, что помогло Лабзину на субсидию правительства издавать “Сионский вестник” (апрель 1817) <...> в июне 1818 "Сионский вестник "был закрыт <...> Стиль “Сионского вестника” современники угадывали в церковном красноречии тех лет” (Мильдон В.И., Лабзин Александр Федорович // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т.3 — М: Большая российская энциклопедия: Фианит, — 1994. — С. 259, 260).

Нелишне указать на резко возросший интерес к судьбе “Сионского вестника” в России 1880–90-х , чисто филологически усиливавший в ту пору лингвистическую частотность самого эпитета “сионский” (работы Н.Ф.Дубровина, П.Знаменского, Н.П.Колюпановой и др.), вполне захватывающую “массового” образованного и даже полуобразованного читателя.

[53] Poиtes francais XIX–XX siиcles. Anthologie. Par Samari Vйlikovsky.— Moscou: Editions du Progrиs, 1982. — P. 258.

[54] Указ. издание. — С. 644. И специально этимологические, и коньюктурные трудности вокруг перевода этой строки Рембо см. в кн.: Рембо Артюр. Стихи.— М.: Наука, 1962. — С. 62, 363, 365,366 (Переводы М.П.Кудинова. П.А.Антокольского и др.).

[55] См.: История семи мудрецов. [Пред. Ф.Булгакова]. Вып. 1-2. — СПб., 1878–1880.

[56] Телешов Н. Записки писателя. Воспоминания и рассказы о прошлом. — М.: ГИХЛ, 1953. — С. 272–273. (Выделено мною. — *В.С.*).

[57] Ходасевич Владислав. Стихотворения. — Л.: Совет. писатель, 1989. — С. 167.

[58] Мстиславский С. Партионцы. –– М.: Совет. литература, 1933. — С. 347–348.

[59] Мстиславский С. Откровенные рассказы полковника Платова о знакомых и даже родственниках. — М.: ГИХЛ, 1935. — С. 109.

[60] Полн. собр. соч. И.С.Тургенева. 7-е изд. Т. IV. — СПб.: Типография Глазунова, 1915. — С. 336.

[61] Факсимиле текста Ф.П.Степанова см. в кн.: Fry J. Waters Flowing Eastward P. — 1931. — P. 100.

В связи с недоступностью этого издания свидетельство Ф.П.Степанова мы цитируем по кн.: Кон Норман. Благословение на геноцид... — С. 59-60.

В книге С. Дудакова "История одного мифа: Очерки русской литературы XIX–XX веков" степановский пассаж воспроизводится с незначительными сокращениями.

В книге Нормана Кона говорится , среди прочего, о том, что на Бернском процессе 1934 г., подвергшем "Протоколы" самой жесткой юридической ревизии, фигурировала советская фотокопия четырех страниц гектографического издания Ф.П.Степанова, и известный историк Б.И.Николаевский, знаток, по слову Артема Веселого, "смрадных тайн охранки"и ее революционных антагонистов, "внимательно ознакомившись" с теми страницами, "был убежден, что это действительно гектографическая копия Степанова" <...> "Она была сделана с рукописного текста, озаглавленного "Древние и современные протоколы встреч сионских мудрецов" (Кон Норман. Благословение на геноцид. — С. 60-61).

[62] Луцкий В. Палестина // БСЭ. Т. 43. — М. : Совет. энциклопедия, 1939. — С.825.

О реакции Великого Князя Сергея Александровича на "Протоколы сионских мудрецов": "Поздно".

В связи с необходимостью реконструкции хотя бы некоторых сторон идеологического облика А.Н.Сухотина как одного из первых издателей "Протоколов" нелишне напомнить, что облик того "предводителя дворянства Чернского уезда Тульской губернии" вполне могло определить трагическое событие, имевшее место вблизи станции Чернь Московско-Курской железной дороги: на этом ее участке 30 июня 1882 г. потерпел крушение почтовый поезд, вагоны которого ушли глубоко в землю, похоронив заживо полтораста пассажиров, — одна из самых громких технических катастроф того времени, поразившая русскую литературу от Гаршина (См. Гаршин В.М. Письма. — М.-Л., 1934 — С. 493) до Андрея Белого, сочинившего о "кукуевской катастрофе" стилизованную городскую песню (См.: Белый Андрей . Петербург. — С. 288, 675). "Кукуевская катастрофа" вблизи Черни стала для определенной части общества эсхатологическим знаком, проблематизировала в ее сознании технический и другой "прогресс". Если, впрочем,

значение того чернского события для “чернского предводителя дворянства” — чернского же издателя “Протоколов”— гипотетично, то именно в том же 1882 г., несколько позже, в сентябре, С.А.Нилус переживает в Киеве первый эсхатологический шок при виде кометы, — шок, положивший начало личной мифологии, завершившейся изданием “Протоколов сионских мудрецов”. (Нилус Сергей. Близ грядущий Антихрист и царство диавола на земле. — С. 44-49).

[63] Неру Дж. Открытие Индии. — М.: Иностр. литература, 1955. — С. 83.

[64] Аверинцев С.С. София-Логос. Словарь. — Київ: Дух і літера, 2000. — С. 171–172.

II. "Доктор-Фауст" Из записной книжки писателя"

[1] Ст. "Протоколы сионских мудрецов" — Краткая еврейская энциклопедия // Т.6. — Иерусалим, 1992. — С. 844.

[2] Дудаков Савелий. История одного мифа.— С. 265.

[3] Там же. — С. 199.

[4] Ст. "Протоколы сионских мудрецов". — Краткая еврейская энциклопедия. Т. 6 .

[5] De Michelis Cesare G. Les Protocoles des sages de Sion // Philologie et Historie // Cahiers du Monde Russe. Russie — Empire russ. Union Soviétique— États indépendants. — Volum 38(3). — 1997. — Juillet-Septembre.— P. 274

[6] Там же. — P. 273.

[7] Там же.

[8] Там же. — P. 274.

[9] Там же.

[10] Там же. — P. 273.

[11] Там же. — P. 273–274.

[12] Доктор-Фауст. Из записной книжки писателя. — М.: Изд. М.М.Левина, 1910. — С. 11.

[13] De Michelis Cesare G. — P. 274.

[14] Игнатьев А.А. 50 лет в строю. Т. 1. — Петрозаводск: Карельское кн. изд., 1964. — С. 268.

[13] Цит. по ст.: Белецкий А. Биографический метод в литературоведении // БСЭ. Т. 6. — М.: Совет. Энциклопедия, 1927. — С. 281.

[16] De Michelis Cesare G. ... — P. 263.

[17] Там же. — P. 302.

[18] Там же. — P. 302; ср. P. 269.

[19] Шафганс Борис. "Валькирия" Эйзенштейна и германо-советские отношения // Киноведческие записки. — 1998. — № 39 — С. 207–208.

[20] Шепс Юлиус. Теодор Герцль: человек, проложивший путь политическому сионизму. Иосиф Недава. Жаботинский: вехи жизни. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. — С. 95.

IV. "Черная книга германских зверств".

[1] См. об этом в ст. Киселева Н."Сигнифика" // Философ. энциклопедия. Т. 5.— М.: Совет. энциклопедия, 1970. — С.5-6.

К концу 1930-х годов эта сумма была в достаточной степени обобщена в двух весьма дельных советских исследованиях:

Цехновицер Орест . Литература и мировая война 1914-1918. — Л., 1938. Автор — знаток и теоретик массовых советских феноменов, т.е. так называемых "массовых празднеств", лубочного театра и названной выше "культурологической" прозы князя В.Ф.Одоевского.

М.С.["М.С." — по-видимому, ранее упоминаемый Сергей Мстиславский]. Буржуазная пропаганда в годы войны / Первая мировая империалистическая война (1914-1918) // В кн.: БСЭ. Т. 44. — М.: Совет. энциклопедия, 1939. — С. 638—642.

[2] Об исключительной распространенности этого тропа в Росии накануне 1914-го года. см. в воспоминаниях Арона Штейнберга "На петербургском перекрестке (Встреча с В.В.Розановым)" // Єгупець. — Вип. 4. — 1998. — С. 250.

V. Головинский

[1] Новое время. — 1902. — 15 (28) января. — С. 3.

[2] Толстой А.Н. Полн.собр. в 15 тт. Т.1. — М.: ГИХЛ, 1951. — С. 396. Все цитаты из Алексея Толстого по этому изданию.

[3] Толстой Л.Н. Полн.собр.соч. Серия 3. Письма. Т.81.— М.:ГИХЛ, 1956. — С.113.

[4] См. очерк "Что отпирает "Золотой ключик?" в кн.: Петровский Мирон. Книги нашего детства. — М.: Книга, 1986. — С. 147–220.

[5] "Тяжелый и крупный Толстой рассказывает, конечно, как кто кого побил в Париже". (Блок А. Собр.соч. в 8 тт. Т. VIII. — М.-Л.: ГИХЛ, 1963. — С. 75).

[6] Мак-Орлан Пьер. Фабрика крови. Рассказы. [Пер. с фр. А.П.Вейнтрауб. Под ред. С.В.Шервинского]. — М.: Артель писателей "Круг", 1927.

VI. ПСМ — голоса из Достоевского

[1] Достоевский Ф.М. Полн. собр.соч. в 30 тт. Т.10. Далее все цитаты из Ф.М.Достоевского — по этому изданию.

[2] Аверинцев С.С. Иисус Христос. — Мифы народов мира. Т. 1— М.: Совет. Энциклопедия, 1991. — С. 503.

SUMMARY

The Protocols of the Zion Wise Men is a text that has in this century constantly provoked and will further provoke the collective myth of an extremely reactionary nature. The discussions are of a humanistic nature and still remain quite contraversal.

This essay first of all consecrates on the problem of the debate on the authorship of this text. Unfortunately the problem is still exceedingly confused even amongst august writers and it is still being debated. Of course this merely strengthens the negative nature that *The Protocols* has had on the collective consciousness; the effect that *The Protocols* contribute to the intense cause by these fantastic 'Zion Wise Men'.

Of those writers considered to possible contenders of the authorship since they share the argumentative style and mysticism of the above is the little known Russian Matvey Golovinski (? — 1920). However, in many similar styles of writing the authenticity of Golovinski cannot be verified and conflicts with what we know about his life.

The author of the proposed book, due to the ambiguity, prefers to detach himself from any attempt at a of solely biographic analysis of the hypothesis connected with Golovinski as the possible author of *The Protocols of the Zion Wise Men*. Instead, he proposes the question concerning *The Protocols* on the grounds of this hypothesis solely to the analysis of the text itself, most numerous textual and other parallels between *The Protocols* and the writings of M.V. Golovinski, known for the researcher, and published in Russia in the period between 1900 and 1910-s (including, those published under a characteristic pen name 'Doctor Faust').

The creative production of 'Doctor Faustus' was a digest of belles-lettres and autobiographical prose known under the titles of *From the Writer's Notebook* (Moscow, 1910), then the propagandistic *The Black Book of German Atrocities* (St.-Petersburg, 1914), a booklet *An Experience of Criticism of Bourgeois Morality* (Moscow, 1919).

All of Golovinski's writings are full of the motives, images, stylistic technique, etc. that directly associate with both the semantic and narrative-and-rhetorical structure of *The Protocols of the Zion Wise Men.*

The Golovinski's writings on their conception are remarkable for their ideological diversity, with an occasional being complete with the author's entire unscrupulousness. The novel *From the Writer's Notebook* gives a predominantly fair liberal view on the surrounding reality, both in Russia and the rest of the world. *An Experience of Criticism of Bourgeois Morality*, written soon afterwards already subjects reality to intense criticism in terms of the left-radical-anarchist meaning. *The Black Book of the German Atrocities* though is also quite ordinary, but has some rather aggressive writings with regards to the nationalistic and chauvinistic nature of official Russian phobia towards everything German before the WWI.

However, with regard to the diversity of the author's view on the world, all the literature of Golovinski is remarkable for the constant and most intense interest in all these important topics of modern civilisation, and, first of all for the author's determination to collect and generalise all the major shortcomings of that civilisation.

In this respect it is especially characteristic the story of *A Restless neighbour* and the imaginative parable *The Vision***,** that though generalise hardly give a complete history of mankind from antiquity to the hypothetical future. The mistakes, defects and oversights of this experience, both stylistically and semantically from their most obvious images associate with the image of civilisation in crisis in *The Protocols of the Zion Wise Men*. But while Jews and their 'wise men' are directly named in *The Protocols* as the party responsible for this crisis, in *The Vision* certain ethnically undesignated "peoples of the East" do their evil business.

The prose by Golovinski on a larger scale most carefully avoid any topic concerning Jews. Even the slightest mention of them. But the only specifc and presentation in prose of some chronic diseases of the civilisation quite often attain the most direct coincidence with numerous references in *The Protocols*. It may be assumed, that Golovinski as a writer either continuously quotes those circumstances (which is hardly possible) or, more likely, he was the author, and composed them in the literary manner inherent to him.

The large number of such coincidences, mostly differ in their character and contents, necessarily conclude that of the books by Golovinski, 'Doctor Faustus', and *The Protocols of the Zion Wise Men* were written by one and the same hand, the hand of M.V. Golovinski.

In this connection the author also traces the incidents and other examples in Russian literature from previous century of special genre of the philosophical and historico-sophical newspaper satire, unique in relation to the entire western civilisation. That satire by its genre and other features obviously corresponds to the central object of scepticism of the 'Zion wise men' of *The Protocols*.

The Protocols of the Zion Wise Men also include a considerable number of diverse reminiscences and even obvious borrowings from the novels by Dostoevski (first of all, from *The Evil spirits* and *The Karamazovs Brothers*). In the proposed study all these borrowings are amassed and commented on in addition to the manner peculiar for the author of *The Protocols* of inconsiderate literary plagiarism, 'the manner' previously commented upon by objective researchers.

At the same time the author of the present book regards, that the weighty presence of Dostoevski as a novelist in *The Protocols of the Zion Wise Men* is certainly an indication of the known closeness between him and Vasily Golovinski, who was similarly to Dostoevski a former 'petrashevitz', and like the latter once ascended the fatal scaffold. 'Petrashevitz' Vasily Golovinski was the father of the journalist Matvey Golovinski who more than adequately scooped from Dostoevski's novels the images and situations necessary to characterise certain current social and moral crises.

Thus, the 'presence' of Dostoevski in *The Protocols of the Zion Wise Men* is an additional sign in favour of Matvey Golovinski's authorship.

But, certainly, for the benefit of Golovinski the texts themselves indicate first of all the authorship of the latter, the texts that constantly employ the motives and means so inherent in *The Protocols of the Zion Wise Men*.

All relevant and convincing correspondences are collected by the author in the proposed book.

СОДЕРЖАНИЕ

Видавництво «ДУХ І ЛІТЕРА» ***пропонує твори гуманітарної класики***

Сергей Аверинцев
Собрание сочинений. — Т. 1
Под ред. Н.П. Аверинцевой и К.Б. Сигова.
Переводы: Евангелия. Книга Иова. Псалмы.
Пер. с древнегреч. и древнеевр.
— К: ДУХ І ЛІТЕРА, 2004. — 500 с.

В настоящий том собрания сочинений С.С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.

Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.

Сергей Аверинцев
Собрание сочинений. — Т. 2
Под ред. Н.П. Аверинцевой и К.Б. Сигова.
Переводы: Многоценная жемчужина
Пер. с сирийского и греческого.
— К: ДУХ І ЛІТЕРА, 2004. — 456 с.

В настоящий том Собрания сочинений С.С. Аверинцева вошел сборник «Многоценная жемчужина», значительно дополненный по сравнению с предыдущими его изданиями в Москве в 1994 и в 1987 гг. (под названием «От берегов Босфора до берегов Евфрата»).

Сборник включает переводы лучших образцов христианской письменности сирийцев, коптов и ромеев (византийцев) первого тысячелетия нашей эры. Представленное собрание текстов в прозе

и стихах отличается большим тематическим и жанровым разнообразием: творения таких прославленных Отцов Церкви, как преп. Ефрем Сирин, свят. Григорий Богослов, преп. Иоанн Дамаскин, преп. Симеон Новый Богослов, преп. Исаак Сирин (Ниневийский), преп. Феодор Студит; высказывания отшельников, вошедшие в знаменитые сборники «Лавсаик» «Луг духовный» и «Изречения отцов пустыни»; образцы богослужебной поэзии; христианские апокрифы и гностические сочинения. Большинство предлагаемых переводов впервые увидело свет в составе настоящего сборника. Переводы сопровождаются подробными комментариями, носящими историко-филологический и богословский характер.

Книга открывает новые горизонты в осмыслении становления христианской культуры и незаменима для всех, интересующихся христианством, религией, культурой.

Сергей Аверинцев
Собрание сочинений. — Т. 3
Связь времен
Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова.
— К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005 — 448 с.

«Связь времен» – последняя книга Сергея Сергеевича Аверинцева, состав которой, заглавие и композиция определены автором. Книга содержит ответ Аверинцева на ключевой вызов XX столетия – попытку тоталитарных режимов порвать с библейской традицией и классическим наследием человечества. Продуманную форму этого ответа отражают пять разделов книги: «Читая Ветхий Завет» (работы о Премудрости и Псалмах); «Из мира античной литературы» (Плутарх и Вергилий); «Чаяние языков и благовестие Христово» (содержит в том числе впервые публикуемый оригинал ключевой работы «Образ Иисуса Христа в православной традиции»); «Русская культура во всеевропейском контексте. Созвучие и контрасты» (от «Повести временных лет», Григория Турского и Стефана Пермского до Жуковского, Крылова, Пушкина, Вяч. Иванова и Бахтина); «Сердца горестные заметы, или Актуальное, слишком актуальное» (от анализа идеологий тоталитаризма и релятивизма до мыслей о «солидарности поколений как факторе гражданской свободы»).

Поколению Аверинцева мы обязаны тем, что не все прервалось, что уязвимая «связь времен» восстановима. Для новых поколений особое значение имеет это свидетельство — итоговый том трудов нашего великого современника.

Псалмы Давидовы
Пер. С.С. Аверинцева.
— К: ДУХ І ЛІТЕРА, 2004. — 160 с.

В книгу вошли избранные псалмы в переводе С.С. Аверинцева и обширные богословские комментарии к ним.

«...У истока всех церковных славословий и ликований, в непредставимой, уму непостижимой дали времен — и все же, надо сознаться, совсем близко, словно бы из глубины нас же самих: Давидовы Псалмы. Слова, которых ничего не может быть проще — и ничто не может быть неожиданней. До простоты которых надо докапываться, роя глубже и глубже».

Новый перевод С.С. Аверинцева позволяет расслышать и прочувствовать строй псалмической речи, передает тот «начальный опыт», который лежит в основе всех последующих вопрошаний и исканий христианской культуры. Перед читателем открывается необозримый «мир Псалмов, где жалость — это тепло материнской утробы, где мыслить и учиться — это шептать, двигая губами. Где Божья защита — это твердая скала. Где все твердо и надежно, как камень. Где человек кричит изо всех сил, зная, что за пределами мира его слышат».

Моисей Лоев
Украденная муза
— К., ДУХ І ЛІТЕРА, 2003. — 243 с.

Книга режиссера Моисея Лоева «Украденная муза» — художественно-документальные воспоминания автора о родном ему Киевском государственном еврейском театре им. Шолом-Алейхема.

Театр был создан в 1925 г. в Харькове на базе студии «Культур-Лиги». В 1934 г. состоялось объединения с киевским еврейским театром. Во время войны театр находился в эвакуации и работал

в Джамбуле, Коканде и Фергане. Последние пять лет (1945—1950) театр работал в Черновцах.

Над книгой о театре автор начал работать в 1985 г. в Черновцах. В 1988 г. журнальный вариант, предназначенный для московского литературного журнала «Советиш Геймланд», был подготовлен к печати, но публикация не состоялась в связи с отъездом Лоева и его семьи в США. Автор обогатил книгу новыми редчайшими и интересными материалами, рассказами о встречах с людьми литературного и театрального мира, очерками, курьезами, богатым иллюстративным материалом.

Игорь Туров
Ранний хасидизм: История. Вероучение.
Контакты со славянским окружением.
— К., ДУХ І ЛІТЕРА, 2003. – 254 с.

Книга содержит обзор наиболее значительных событий истории раннего хасидизма (1760–1815 гг.). В ней рассматриваются основы вероучения основоположников этого религиозного движения. Автор уделяет большое внимание также анализу гипотез о влиянии на хасидизм верований и культов славян, проживавших на территории Украины, Белоруссии и Польше в указанный период. Книга рассчитана на специалистов, а также на широкий круг читателей, интересующихся вопросами истории и культуры народов Восточной Европы.

Юрий Морозов, Татьяна Деревянко.
Еврейские кинематографисты Украины 1910—1945 гг.
— К., ДУХ І ЛІТЕРА, 2004. — 328 с.

Книга представляет документальный рассказ о еврейских кинематографистах 1910—1945 гг. и исторических обстоятельствах, которые влияли на их творчество. Прежде всего, в книгу вошли биографии киномастеров и комментарии к наиболее значимым событиям. Основу книги составляют редчайшие фотографии, фрагменты газетных и журнальных публикаций тех лет, документы, отзывы участников событий и исследователей еврейского кино.

Дэвид А. Харрис
«Я СТОРОЖ БРАТУ СВОЕМУ»
Пер. с англ. — К.: Дух і Літера, 2005. — 326 с.

Книга Дэвида А. Харриса — это ряд эссе, написанных в период с 2003 до 2005 года. Автор — один из политических лидеров американской еврейской общины — делится с читателями своими рассуждениями о ситуации на Ближнем Востоке, о проблемах современного Израиля, об американо-израильских отношениях, а также о судьбах еврейских общин мира.

Михаил Мицель.
Евреи Украины в 1943–1953 гг.:
Очерки документированной истории
– К., ДУХ І ЛІТЕРА, 2004. – 362 с.

Книга содержит документированные очерки из истории евреев Украины в последнее десятилетие сталинской эры (антисемитские инциденты и процессы 1943–1945 гг., эмиграция и миграция, преследования представителей творческой интеллигенции, репрессии карательных органов, образ евреев в массовом сознании и мифологии, «дело врачей» и т.п.). Документы, большинство из которых публикуется впервые, убедительно свидетельствуют о ненормальности общественной атмосферы того времени, объясняют корни юдофобской политики советского государства. Для историков, студентов, широкой массы читателей – всех, кто интересуется этим сложным периодом истории.

Яков Бердичевский
Народ книги
— К., ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. — 354 с.

В работе Якова Бердичевского прослеживаются многовековые органичные связи российских евреев с книгой, в каждом отдельном случае обозначенной книжным знаком — экслибрисом. Перед читателем проходит галерея из сотен книжных знаков, сопровождающихся описанием еврейских книжных

собраний, которые этими знаками были отмечены (объем и состав библиотеки, ее характирстика и судьба, общественная позиция владельца и его роль в науке, технике, культуре, искусстве и проч.). Исторический срез работы равен двум векам — девятнадцатому и двадцатому.

Нариси з історії та культури євреїв України

— К: Дух і літера, 2005. — 437 с. з іл.

У книзі представлені нариси з історії та культури євреїв, які проживають на території сучасної України, починаючи з прадавніх часів до сьогодення. Нариси висвітлюють різноманітні сторони життя євреїв, віковічні традиції та побут, виникнення хасидизму, розвиток єврейської літератури та друкарства, українсько-єврейські взаємини впродовж століть, трагічну долю українського єврейства під час Голокосту. Частина текстів книги — це нариси про історію єврейського мистецтва, літературу, книговидання, архітектуру, становлення та розвиток єврейського театру та кінематографу.

По вопросам приобретения литературы обращаться:
Издательство «Дух і Літера»
Национальный университет «Киево-Могилянская академия»
5-й корпус, ком. 210
ул. Волошская, 8/5, Киев-70, 04070, Украина

Тел./факс: (044) 416-60-20
e-mail: duh-i-litera @ukr.net — отдел сбыта